КрР1,3
З-67
Кр3978

НАРОДНАЯ БИБЛИОТЕКА

Н. Н. ЗЛАТОВРАТСКИЙ

РАССКАЗЫ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО

ПЕТЕРБУРГ

1919.

Н. Н. ЗЛАТОВРАТСКИЙ

РАССКАЗЫ

Государственное Издательство
ПЕТЕРБУРГ ✦ 1919

Кр Р1,3
3-67

Никем из книгопродавцев указанная на книге цена не может быть повышена под страхом ответственности перед законом страны.

кр-39780+

ВЛАДИМИРСКАЯ
ОБЛАСТНАЯ БИБЛИОТЕКА

5-я Гос. тип. Петерб., Стремянная 12

СОДЕРЖАНИЕ.

	стр.
Н. Н. Златовратский	5
Белый старичок	11
Авраам	27
Лес	58
Надо торопиться	82

НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ ЗЛАТОВРАТСКИЙ.

Великое событие прошлого столетия—освобождение крестьян вызвало в высшей степени интересное, полное необычайного одушевления движение в русской общественной жизни, так называемое *хождение в народ*. Давно лелеемое, как мечта, оно разрывало, наконец, вековую цепь великую и открывало пути разнообразного общения с народом. Не только кающийся дворянин, который брал на себя вину отцов и дедов и шел в народ с намерением ее искупить, каждый, у кого только пробуждалось сознание, чувствовал себя в каком-то неоплатном долгу у народа и обрекал себя на жертвенное служение ему. Шли в народ по разным побуждениям: одни затем, чтобы учить народ, другие, как Л. Толстой, самим у него учиться, третьи—чтобы поднять революцию, четвертые—просто чтобы пожить и сблизиться с ним.

В эту эпоху жил и писал Николай Николаевич Златовратский. Его также захватила общественная волна народничества, сделав из него писателя-народника, и он, вместе с другими, ходил в народ, но его хождение имело особый смысл.

Златовратский родился во Владимире в 1845 г. Старинными родовыми связями он был близок к духовному сословию и через него к народу, а интеллигентными интересами, господств в шиих в

семье, он был связан с лучшими представителями прогрессивной мысли того времени. Особенно сильно было влияние Добролюбова, близкого друга одного из родственников Златовратского. Отец его, чиновник канцелярии губернского предводителя дворянства, был даже организатором местной публичной библиотеки, в которой сын-гимназист был деятельным участником. Ожидалось освобождение крестьян; самые глухие провинциальные углы пришли в волнение. Настроение в семье Златовратских было типичное прогрессивно-народническое. Между прочим, отцу Златовратского пришлось много работать по вопросам об экономическом положении крестьян. Всё это естественно глубоко влияло на душу Златовратского, определив навсегда его интересы, симпатии и всю дальнейшую деятельность. Частые поездки в деревню к родственникам, то на разные работы, обогащали Златовратского живыми впечатлениями из народной жизни; она с детства ему была близка и понятна. Но всё же Златовратскому не пришлось миновать тяжелой житейской дороги. Несчастные служебные обстоятельства отца помешали ему поступить в университет. Мы видим его вольнослушателем в Технологическом институте, но курса ему так и не удалось окончить. Началась обычная у наших писателей, интеллигентных пролетариев, борьба с нуждой, за кусок хлеба, толкнувшая его, наконец, на писательство. Златовратский еще на школьной скамье с увлечением упражнялся в стихах и прозе Первый литературный успех рассказа из народной жизни „Падеж скота" окрылил молодые силы, определив

для Златовратского писательство как задачу жизни. С тех пор начинается его постоянное сотрудничество в передовых журналах того времени, главным образом в „Отечественных Записках“, и вмест постоянное общение с деревенским людом.

Отсюда—смысл его народничества: оно есть посредничество между народом и другими слоями общества. Когда народ был крепостным, он был понятен: кость белая—кость черная и посмотреть так разные. Теперь народ освобожденный казался сфинксом, таинственным незнакомцем, как его назвал Тургенев. Являлась потребность войти ве его мир, путем общения с ним раскрыть, понять его душу. Кто же мог лучше это сделать как не Златовратский с его знанием крестьянской жизни. Пробегая его сочинения, чувствуешь, как устами писателя говорит сам народ. Поэтому его произведения—не столько изящная беллетристика, сколько публицистика, этнографические очерки, „мужицкая литература“, как ее называли. Главная его задача—постигнуть внутренние основы жизни народа, показать народные *устои*. Толчком к этому послужило психологическое состоиние писателя—чувство неудовлетворенности своей интеллигентской оторванностью от народа. Любопытную страницу этой тоски представляет рассказ Златовратского о своей жизни среди артели водовозов. В качестве интеллигентного пролетария живет он среди артели. „Я смиренно поместился,—рассказывает он,—в углу, у окна; признаться сказать, мне в первый раз в жизни стало совестно за свой черный сюртучишко, за галстух, за манишку, за свои худые и слабые руки, за свою

барскую комплекцию. И как мне хотелось в эти минуты почувствовать в себе здоровую мощь железных мускулов, чтобы получить санкцию на равноправность. Я даже вытянул руку, сжал кулак, как будто я ожидал, что в меня уже влилась свежая новая кровь; но кулак мой был слаб, рука повисла, как плеть... Мне сделалось обидно; к глазам подступили слезы". Но всё же близость к народу, общение с ним оказывали свое благотворное действие. Несмотря на тревожные думы, Златовратский чувствовал, как всё легче и светлее становится у него на душе. Уже не было больше непроходимой пропасти. „Я сам,—говорит он,—хотя смутно начал ощущать в себе присутствие этой веры народной—веры в правду, преодолевающую жизнь со всем ее горем и тяготами".

В чем же был источник этой веры для Златовратского? Он формулирует ее в общем понятии—*устои*, иллюстрируя его рядом живых характеристик. Устои—это те коренные начала, моральные и бытовые, созидающие жизнь, которые, складываясь с незапамятных времен, передаются в народе по традиции от отцов и дедов, как святыня, как опытом проверенный идеал жизни. Сила этих устоев в одухотворяющей их чуткости народной совести. Часто останавливаясь на этой теме, в виде разных подробностей и замечаний, Златовратский о некоторых фактах говорит с особенной проницательностью и любовию. Таково, напр., участие народа в новых судах. Суд присяжных и отношение к нему народа, по нему, наилучшим образом доказывают здоровое состояние общественной совести в народе. У Златоврат

ского это целая история, как командированные на судебную сессию пеньковцы идут постоять за правду,—один даже жертвует жизнью, как сами по своему творят они суд народный, в противовес классовым интересам привилегированных сословий. Любопытно, что эта статья „Крестьяне-присяжные“ оправдывает у Златовратского как бы двоякую цель: показывая чуткость простой бесхитростной народной души, присяжной совести, откликающейся на защиту справедливости и милости, Златовратский, вместе с тем, приветствует новую судебную реформу, как наилучшим образом гармонирующую с народным духом. Один из его героев переживает даже такое моральное потрясение, что, вернувшись домой, выправляет паспорт на богомолье в Соловки.

Если внутренняя природа устоев коренится в моральном начале, то внешним образом они опираются на социальный уклад деревенской жизни — *общину, мир*.

В эпоху освобождения в крестьянской общине видели зародыши социализма; с нею связывалось много восторженных мечтаний, обещающих многое для будущего в противоположность буржуазному индивидуализму Запада. В этой полосе общественных взглядов складываются понятия и у Златовратского. Только в цельности мирского начала, верности земле, по его мнению, залог прочности народной жизни и того морального и материального равновесия, которое спасает от гибели отдельные личности. Как только они отходят от этого единства, обособляются, они теряют почву и гибнут, как пчелы, оторвавшись от роя. Злато-

вратский часто останавливается на этой теме, рисуя в ярких образах это постепенное вымирание заживо. Такова личность Строгого в повести „Устои“; его обособление происходит на почве моральной, вследствие повышенности умственной жизни среди общей обыденности и духовной приниженности. В другом роде личность Пимака; полная неукротимых страстей и энергии, она не уживается в домостроевском укладе мира и гибнет на просторе вольной волюшки. В этом изображении народного социализма у Златовратского несомненно много идеализации: литература и жизнь той эпохи дают много иных впечатлений. Однако, в этой идеализации, в этом восторженном, повышенном тоне главное своеобразие и прелесть творчества Златовратского. Оно чувствуется в светлых образах его героев типа Микулы Селяниновича, в сочном, колоритном языке, подслушанном в народном говоре, в певучем, местами былинном тоне рассказа. В остальном от него веет стариной: люди жили, волновались, мечтали, разочаровывались, во имя увлечений и идей ломали жизнь. Потомок добрым словом должен вспомнить эту в высшей степени идеалистическую эпоху—хождение в народ. Златовратскому в ней не последнее место.

А. М. Смирнов.

БЕЛЫЙ СТАРИЧОК.

В дамской мастерской, вечером, около большого стола, сидели девушки-мастерицы и шили; одна из них высокая белокурая девушка, худая и бледная, низко наклонившись над шитьем, неторопливо и тихо рассказывала:

— „Когда вспомню я свои ребячьи годы, так кажется ничего-то для меня милее в жизни не было, как матушка, да старый дед... Ну, об матушке я теперь говорить вам не стану, а то слезами изойду... Что говорить! Одно ей имя: труженица безответная. Я так думаю, что если есть на небе правда, то давно уж матушка моя среди самых чистых ангелов пребывает... Да так думали мы, что и на земле-то ей Господь невидимо помогал! А то где бы ей этой кроткой, безропотной силы взять. Была она высокая, красивая, да только худая, а нас у нее было мал-мала меньше пять человек, и всё-то девочки. Надо управиться! Да и не знали мы — покладала ли она когда рученьки: как я и вспомню ее, всё на ногах мне она видится, всё торопится, словно невидимые крылья носят ее с ранней зари до поздней ночи... Ах, тяжело нашим матерям! Да уж я не знаю, есть ли кто на свете их праведнее, разве только мученики, что за других свою жизнь кладут... Батюшку мы только изредка видали: в работу он ходил на сторону, на заводы. Словно гость он для нас был; приедет, бывало, не признаешь: рубаха розовая, новая, жилет с разводами, сапоги смазные, с на-

ром. Принесет нам сластей, сам сядет в передний угол, шутит над дедкой, над матушкой, над нами... И нам всем как будто веселее станет!.. А там и опять уйдет на целые месяцы, и останемся мы с матушкой одни-одинешеньки, да дедушка еще... Живем мы так день за день, а и не чуем, что беда у нас за плечами. Родила матушка шестую дочку, да и душу Богу отдала: стаяла, как восковая свечка... Приехал батюшка, вошел в избу, взглянул на нас, малышей, да как хлопнет об полы руками, как грохнется на пол перед покойницей, так у нас от избы-то ровно стон пошел: ревем все в один голос... Ну, похоронили, поминки справили, тетка пришла помочь. Встали на другое утро, батюшка уходить собрался, говорит мне: „Ну, Феня, видно тебе такое счастье—сызмалетости быть за место матери... Да Бог, может, тебе воздаст за это... Хозяйствуйте пока с дедом, а там что дальше—видно будет“... Попрощался и ушел. А мне в то время только что двенадцать годков минуло. „Ну, Фенька,—говорит и дедушка,—плохое нам с тобой житье будет“...—Ничего, говорю, дедушка, Богъ поможет... Мамынька вон справлялась (а сама думаю,—хорошо еще, что ребенок-то умер тоже!)...—„Мамынька-то чай не тебе была чета, глупая,—говорит дед;—ну, да поживем,—увидим. Вот отец-то поди жинку к нам наймет, старуху, что ли, какую ни то привезет... А то, пожалуй, покинул старого да малых!.. Разве так-то можно!..“ Поворчал дедушка, покряхтел, взял ведро и пошел за водой. А я набрала щеп да сучьев в печь, поставила чугунок с картошкой, затопила и стою перед печью, не умею оправиться: ровно, как матушка-покойница... И за ребятами в приглядку, и по хозяйству—как быть в хозяйстве состою... Да

так хозяйствовала, что бывало загоню всех малых-то сестренок к соседской старухе, а сама с дедушкой в поле помогать уеду. Так-то вот нас сызмладости нужда-то учит!..

„Ну, живем мы с дедом, хозяйствуем, рук не покладаючи: с утра-то, с самой ранней зорьки проснешься бывало, натянешь сарафанишко, да скорей к скотине, с молитвой, как матушка бывало, выгонишь ее к пастуху на улицу, а там за водой на ключ побежишь, а дедушка той порой уж хворосту, дров в печь наготовит, а там только что с печкой управишься, накормишь малышей,— глядь надо на пруд бежать, рубашки перестирать... Да мало ли дела по семейству!.. К полудню уж ног под собой не чуешь. А всё же нет-нет, урвешь часок, сбегаешь к девкам на улицу. А улица у нас широкая была, зеленая, веселая. Тут и вздохнешь, и посмеешься, и песни попоешь—и так-то сладко после того спится!..

„Как раз на ту пору у нас на улице разговоры пошли, что будто с осени училище на селе будет и что будто и нас, девок, учить будут. А это было для нас тогда в такое диво, что бабы наши ровно от нечистого от этих вестей открещивались! Да и самим нам, девкам, плохо верилось, а тут еще и парни стали подсмеиваться, что мол девок, слышно, будут в солдаты брать!.. Глядим, незадолго этак до Воздвиженья, стали нашу старую волостную избу чистить да починять, под училище подгонять. А там, глядь, и учительница приехала: такая, совсем девушка еще, ласковая, обходительная. Ну, думаем, и впрямь нас, девок, хотят в люди произвести!.. Как будто и стыдно чего нам, а и лестно, и сердце как будто замирает: думаем, и нам, девкам, праздник пришел! Да только не мне, думаю,—где мне грамоте [illegible].

от такой семьи! Это вот кому на досуге. Думаю так, а у самой уж заранее слезы к глазам подступают, когда услышу, как учительша то с той, то с другой подругой знакомится, разговаривает, всех в ученье заманивает, матерей уговаривает!.. К Покрову и училище изготовили совсем, велели приходить всем — записываться, кто хочет. Шум пошел по всей нашей девичьей деревне: кто у матерей новые рубахи да сарафаны просит, кто плачем плачет, — кого не пускают, — просится. Охота нам тогда всем была большая к ученью! Думаю, пойду и я, улучу минутку, взгляну хоть глазком, что у них там, у счастливых, делать будут... Собрались всем селом, всю избу полным-полно заполнили. Учительша опрашивает всех, записывает, кого уговаривает, кому, по молодости, подождать велит. Вот почесть всех переписала, по скамьям усадила, а я стою в уголку у двери, глаз не свожу: думаю, неужто-ж так и домой мне идти, ровно сироте?.. А на сердце так у меня и вертит, так слезы и подступают. „Что ж, говорю себе, — сирота и есть, коли родной матушки нет: такое уж произволенье значит, коли она на меня, малую, семью покинула. Без глаза как ее починишь: дедушка-то старый дряхлый уж, а сестренки всё мал-мала меньше. Надо при своем деле оставаться". Думаю так, а тут учительша приметила меня и говорит: „А ты, девушка, чья такая?" — Такая-то, говорю. — „Что ж ты не записываешься?" спрашивает. — „Нельзя мне, говорю, потому как я в семье большая..." Гляжу, учительша усмехнулась, а все ребятишки так грохотом и рассмеялись. И так-то вдруг мне стало чего-то и стыдно, и обидно, заплакала я стоючи, да и сама не вижу: слышу, окликает меня учительша, а я ног под собой не чую. — „Что, говорит, что это с тобой,

девка? Али чего испужалась: лица на тебе нет"?.. Тут я ему во всем и открылась, а ведь до той поры всё в себе держала тоску-то свою.

„— Ну,—говорит дедушка,—погодь, девка, придет отец, мы ему спуску не дадим... Не дело это, не дело... Сам ходя по трактирам чаи распивает, а нет, чтоб о семье настояще порадеть: старуху бы, что ли, какую в няньки приспособить... Натка-сь, оставил каких хозяев—старого да малого... Погодь, девка, погодь, мы против него с тобой бунт поведем; скажем: дедке, мол, пора умирать, а девке расцветать, а ты, мол, какое это поведенье взял?

„Вскорости и тятенька на праздник пришел, веселый такой; стал ему дедушка выговаривать, а он только покрикивает: — Ладно, говорит, и няньку наймем... Ладно, говорит, и в ученье поведем... Не люди мы, что ли?

„Дедушка крестится, а у меня так сердце и прыгает.

„Сходил батюшка к бобылке одной, сговорил я с ней, а на утро велел мне принарядиться, а сам новый кафтан надел и повел меня в училище. Увидали меня ребятишки, закричали все в один голос: „Большуху, большуху привели!" Словно обрадовались чему, и я сама от радости дрожу... Так с того времени и прозвали меня большухой! Да пожалуй и точно, что я изо всех их большухой была: ростом я была высокая, держала себя скромно, речью была степенная, ну точь-в-точь матушка-покойница. С ранних-то лет я переростень!..

„И такое-то для меня тогда времячко настало, что, кажись, и не увижу уж я ничего лучше, да и вспомнить кроме него другого нечего, разве что только родимые матушкины короткие ласки...

„Учительница у нас была, говорила я, прелестная,

добрая да веселая. Бывало в школу-то идешь, ровно в церковь на празднике. А то пойдет, бывало, гулять со всеми нами, выйдем за село, песни заносем, и она с нами поет, беседы ведет, а то бегать в горелки пустится!.. А как ученье шло — и не примечала: к Рождеству уж я деду и книги разбирала. Мне всё думалось: кабы матушка жива была родная, как бы я ее потешила"!..

И вдруг Феня смолкла, низко наклонилась над шитьем и залилась тихими, безмолвными слезами. Трудно было сказать, были ли это слезы умиления при воспоминании о немногих светлых днях, или же слезы скорби и грусти. Она наскоро отерла лицо платком, вздохнула и принялась снова за работу и, помолчав, продолжала свой рассказ.

„— Да ненадолго пришлось нам вздохнуть. Как раз на Рождество пришел батюшка, только пришел хмурый, да грустный. Говорит, что чуть не на половину рабочих рассчитали: куда теперь пойдешь? А тот год и без того у нас был трудный: по всей округе хлеба не задались. До праздника еще покупной хлеб стали есть. Конечно, у кого справный двор был да работников в семье было много,—тем еще можно было и без стороннего промысла перебиться: а у нас и всего земли-то было на одну батюшкину душу; значилась прежде другая, на дедушку,—да и ту отобрали по старости его лет,—а на нас, девок, от веков должно быть ничего не полагается, как добрым людям. Что из того, что нас у тятеньки четверо девчонок было—только одна надежда!.. Нет нам ни привета, ни воли, ни доли... Еще счастье, коли на чужие дома к мужу попадешь!..

„Прожил батюшка три дня, а там и говорит:— ну, девки, оставайтесь опять с дедом, хозяйствуйте понемножку... Знать, такая ваша доля! А я пойду

промысла искать... Куда судьба заведет—сам не знаю!..

„С тем и ушел; и бобылка ушла от нас—Христовым именем побираться, и остались мы опять с дедом одни-одинешеньки, и стало нам будто вдвое горше против прежнего...

„— Эх,—бывало вздохнет дед,— плохо ваше, девки, житье на миру, а без матери—так и слов про вас нет!

„Коротаем мы с дедом зиму; поели всё, что было, и деньги, какие батюшка оставил, извели; стали одолжаться, одежу распродавать втридешево, а то уж дошли до того, что дедушка по богатым мужикам стал просить: что выпросит, то и ладно, тем и живы. А от батюшки всё нет и весточки. Скотинку накормить—и ту нечем стало. Загрустили мы с дедом, запечалились, духом упали... Стал было дед о нашем житье на миру заговаривать: куда тебе! Там свой содом... У нас, кричат, у самих поджилки подвело, а он тут, старый, с девками толкается!.. Нам и на пашней-то земли не хватает,—а он натко, что выдумал: на девок земли ему отведи!.. Да где это, когда было видано!..

„Кричат мужики, с голодухи ровно остервенились, друг на друга бросаются: кто победнее—богачам завидуют, кто побогаче—еще того пуще хочет жадность утолить... Словно как бы неладно что-то стало на миру.

„Махнул дедушка рукой и на мир не стал ходить.

„Было уж это после той масленой, как теперь помню—в самое прощеное воскресенье. Сидим мы в избе; я около хозяйства хлопочу, малыши меж собой по лавкам возятся, а дедушка из лыка веревки плетет. Только слышим, кто-то в темное оконце будто подстучал: тук! тук! тук! Отворил дедушка оконце и спрашивает: «кто, православный?»,

3978

надо?—Милостыньку, говорит, Христа ради!—Гляжу, а дед всё смотрит в окно, ровно оторваться не может. Слышу, опять нищий говорит: подайте, говорит, православные; изголодал.—Да ты, спрашивает дед, откуда, старичок, будешь?—Издалече, болезный, издалече: исходил полцарства, а скоро ли Господь домой угодит—того и не ведаю.—То-то, приметно, не из здешних. Ну-ка, Феня, говорит мне дедушка, отрежь старичку ломтик.—Дедушка, шепчу ему, знаешь поди, последний ведь у нас коровашек.—Ничего, говорит, девка, не жалей. Старичок-то больно дряхлый, а издалече... Этому старичку не жалей. Прими, говорит, дедушка, Христа ради!—А сам высунулся в окно и всё ему вслед смотрит.

„— Да ты, говорю, дедушка, ишь высунулся: чего всё смотришь?—Закрыл дедушка окно, а сам головой всё мотает.

„— Ты, говорит, девка, помалкивай... Этот, говорит, старичок-то неспроста... Пойду-ка, говорит, я еще за ним погляжу.—Одел кожух и пошел за ворота. А я всё думаю: что это дед в нищем старике заприметил?—Вернулся дед.

„— Ну, верно... Неспроста этот старичок,—говорит.

„— А что, дедушка?

„— Годи, девка,—того гляди к весне большое дело окажется...

„— А какое дело-то?

„— Дело-то?.. А почем знать? Может, такое дело пойдет, что и на вас, девок, землю назначут. Всех поравняют... Вот какое дело может в миру статься... Ты только, девка, помалкивай, говорит дед, а сам всё по избе ходит да головой помативает.

„— Да какой такой он старичок-то? — спрашиваю.

„— Вот то-то и есть, что не из простых... Разве бы я тогда стал говорить?.. А это уж верно, неспроста.. К[illegible]ой он старичок-то был?.. А весь он был бе[illegible]аричок-то, вот ровно снег: волоса длинные [illegible] плечи, белые-белые, борода большая—т[illegible] бела и брови — белые... Ну, вот от снег[illegible]ишь... А сам в лапотках, в тулупчике [illegible]ом, веревочкой опоясан. А глаза-то, девка, в[illegible] небушко, голубые, да такие-то жалливые, [illegible]асковые... Хочу-хочу в него вглядеться, [illegible]могу: так это он меня глазами-то за серд[illegible]атает... Да это верно, что *он*... Другому такому некому быть.

„— А кто же это такой *он*-то?—спрашиваю.

„— Ну, это, девка, еще надо подумать—сказать ли тебе... Тоже про это зря слово не молви... Так-то-сь!.. Кто-е знает,—говорит дед,—хватит ли у тебя ума-то на это дело... Девка, ведь, ты,—говорит.

„— Так что-ж,—говорю, дедушка—что девка: сам говоришь, что всех поравнять надо... Нонче вон уж и нас, девок, под ряд с парнями учат.

„— Верно, верно... Пожалуй, что и так, —говорит.—Ведь и я в ту пору не ахти был разумен, как дедушка мне об *нем* сказывал: погодки с тобой поди был.

„— А что же,—спрашиваю,—к добру этот белый старичок проявился, али к худу?

„— К добру, девка, к добру... К чему-ж я тебе и сказываю?.. От него зла вот не на эстолько нету...

„Слушаю я, а у меня так вот сердце и пригает; думаю: Господи, хоть бы на часок нам, бедным, просветлело!

„Сел дедушка опять веревки сучить, а я молчу, думаю—пускай лучше сам всё расскажет, а то еще заупрямится.

Сучит дедушка веревки, на пальцы поплевывает, а сам всё раздумывает: и хочется, видно, ему всё сказать, и боязно.

„Помолчал-помолчал, а потом и говорит:

„— Вот что, девка, скажу я тебе, пожалуй: только — смотри — молчок... Заклятье с тебя возьму, чтобы единого слова никому не проронить до поры до времени. Слышь, девка?.. Потому скажу тебе, что знаю тебя по матери: скромна ты и степенна... Вот так же заклятье и дедушка с меня взял. Говорил я, что одногодка с тобой тогда был. То же вот горе с ним избывали вместе... А времена тогда были лютые, пожалуй что и не в пример нынешним. Сидим это вот мы так же да свое горе-злосчастье распутываем, дед и говорит: „Плохи, говорит, ребята, наши дела: вот уж кои веки всё жду-пожду, а белый старичок в миру не проявляется...“ — Какой, мол, такой белый старичок? — так же вот пытаем. — Э, говорит, ребятишки: кабы не было на свете того старичка, так не было бы, может, для нас и самого света — солнца Божьего!.. Им, слышь, только и жизнь в мире красна. Так, слышь, об нем старые люди понимали... А откуда этот старичок в миру проявляется, о том неизвестно; только сызвеков он неустанно по матушке-земле ходит: ходит он по градам и весям, по заморским сторонам и по нашим крестьянским деревням. Только не знает никто часа-времени, когда он в каком месте проявится. И бродит этот старичок неустанно по грешной нашей земле, и нет ему, старенькому, покою: всё-то забота ему об людях, об нас грешных, всё-то гонит его из края в край тоска-жалость: бежит он и в жаркое лето, и в студеные зимы, бежит от селения к селению, бежит — посохом помахивает, а сам нет-нет да припадет го-

ловой к земле и слушает: с какой стороны ки-пут-шумят, что реки, слезы горькие; откуда стоном стонет горе тяжкое; где лютует над людьми злоба-ненависть, где неправда царит великая — в ту сторону и старичок побежит. „Люди Божии, очнитеся, на себя посмотрите — оберитеся! Загляните в свои душеньки!“ заговорит такими словами старичок, а сам подогом под окнами постукивает. — „Это я, старичок, пришел, Белый старичок пришел! Собирайтесь добрые люди на мирское дело, на великое!.. Одумайте свои дела, свои помыслы! Очнитесь, вокруг себя оглянитесь! Сам Господь меня послал на ваше спасение!..“ Покрикивает старичок, а сам всё от избы к избе переходит, да подожком постукивает. Затревожатся селяне, затормошатся: у кого совесть не чиста, белей полотна станет, а кто горькими слезами от нужди-неправды обливался — заплакал слезами теплыми, радостными. Не успеет старичок у последней избы стукнуть, — откуда что станет: улицы-площади народом переполнятся, заговорит по миру правда громким голосом, возликуют горькие, обиженные, сироты, вдовы голодные; устыдятся богачи-начальники, почуют в груди скорбь-жалость; поделят мир земли-матушку поровну, по правде, по справедливости. И вздохнут люди жизнью истинной, божеской!..“ Вот, дивно, как нам дедушка-то рассказывал про старичка, рассказывал — ровно песню сказывал. — Ну, что-ж, мол, дедушка, спрашиваем его: сам-то видал ли ты этого старичка? — Нет, говорит, ребятишки, врать не хочу, — сам не видал, а слыхать слыхал, что-де проходил Белый старичок и по нашим местам. Да и точно: полагаю, раза два на моем веку, чуть не со всей округи народ сходился на деревню, на мирское раденье. Сказывали, что сбегались со всего

царства народ и в самую Москву,—потому, почуял, говорят, Белый старичок, что быть большой беде русскому царству, что дошла в нем неправда до последнего, что грозят ему иноземные враги разорить его; прибежал, слышно, старичок на Москву—и ударил в самый наибольший колокол и разнесся звон по всему русскому царству, очнулись, приободрились люди мирские, выбрали от себя честных и мудрых мужей, посылали их в Москву—всему царству порядок строить, правд укреплять!.. Так вот он, девка, какой-такой Белый старичок-то!.. Правду ли я говорил, что без него нам, бедным, не мил был бы и свет солнца Божьего!..

„— А сам-то ты-ж, дедушка, видал ли его?—спрашиваю.

„— И я врать,—говорит,—девка, не хочу: сам не видал, а слыхать—слыхал... И в свое время были дела, не иначе, что через Белого старичка. Вот перед волей на Москве тоже, слышно, звон был. Вспомнил старичок и русскую землю, и нас, бедных,—пришел, тронул людскую душу!.. Так-то вот, девка, думаю я—быть ему скоро опять у нас... К тому идет!..

„— Так это он, что ли, проходил?—спрашиваю.

„— Может и он... Верно, этот старичок неспроста.

„— А что-ж, дедушка, ни звону, ни народного сбору не слыхать?

„— А глупа еще ты, девка: скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается! Может, еще он, старичок-то, и не раз пройдет. Как душа-то людская зачерствеет, так ее тоже не разом тронешь!.. Ой, девка, девка, молись, авось Господь смилуется над нами!..

„Вздохнул дедушка, поохал, погрыз черствого хлеба с водой и полез на печку. А я, как сидела у стола, так вот и сижу: нейдет у меня из

головы Белый старичок. И батюшка вспомянется, как он, может, тоже голодный, на одном хлебушке перебивается, али, может, бродит во всякую непогодь из города в город — всё работы ищет, и себя с сестренками да с дедушкой вспомяну—чем мы будем завтра сыты: не миновать, не миновать нам, должно, Христовым именем побираться. Да и мало ли у нас теперь на деревне таких! Вон, в соседней деревне почесть половина в кусочки ходит... Подвяжем завтра на плечи котомки, да и пойдем... Ой, Господи! Царица Небесная! Стыдобушка! всплеснула я руками, сама на образ смотрю... Не помню уж, долго ли я так сидела-сидела, да и заснула... И что-же, девушки, снится мне чудное дело: чудится мне, будто откуда-то издалече звон идет, такой звон веселый, радостный, как на светлое воскресенье, слышу — вот он всё громче да громче, всё ближе да ближе наплывает, и чем ближе звон, тем всё светлей да светлей становится; вот и изба наша вся загорелась,—так в ней стало светло и радостно: потолки высокие, чистые, кругом простор, стены, что золото, светятся, и запах от них идет, что из леса весной. А я всё, будто, никак проснуться не могу. Только вижу—подходит ко мне дедушка, такой светлый да радостный, рубаха на нем чистая-чистая, борода белая, лучами расчесана, словно к причастию он сготовился, подошел и говорит: „Вставай, Феня, молись!.. Белый старичок пришел!.. Надо на народ выходить“. А сам весело так улыбается и крестится. Вскочила это я—меня так светом всю и обняло, что глаза заслепило. Глянула в окно, а уж на улице народ валом валит... и всё такой бодрый, веселый, праздничный, прибраны да разодеты; вот и девоньки наши показались, все гурьбой идут, и

впереди с ними учительша,—и вся-то она в белом, и будто лицо у нее стало еще светлее, еще добрее. „Что же это я заспала, думаю, как же это так? Да нет, должно им не до нас, бедных: нам для праздника и нарядиться не во что! Что с ними обносками на глаза лезть!“ Думаю так, а уж ко мне сестренки подбегают,—и все-то нарядные, в рубахах белых да сарафанах кумачных, кричат: „Одевайся, сестрица, скорей!.. Вот, говорят, и наряды твои“. Оделась я наскоро, не помню как, побежала на улицу с сестренками, кликнули мы наших девонек, идем вместе, а народу на улице будто видимо-невидимо, и уж вместо изб будто всё высокие каменные хоромы, под железными крышами, и видим мы: выше всех стоит над народом Белый старичок и держит в руках большую зажженную свечу, и так ласково на всех смотрит, и говорит: „Это я, сам Христос, к вам пришел, к вам, труждающимся... И принес, говорит, и к вам любовь да свет. И вот, говорит, от сего дня она будет с вами!“ Смотрю, а около него стоит наша матушка, такая-то ли светлая, да веселая и бодрая, в чистой, ровно снег, одежде, и он ей в руки свечу отдает... И будто взял он ее за руку и ведет к нам: „Вот, говорит, ребятки, ваша мать. Теперь уж вас с нею никто не одолеет: не изведут вас ни напасти, ни труд, ни злые люди, только бы свеча не погасла...“

„Тут я и проснулась. Гляжу, а солнце мне так и глядит в оконце. „Дедушка, кричу, дедушка! Белый старичок пришел... и матушку с собой привел!..“

„Услыхал это дедушка, слез скоренько с печи, да и спрашивает: „Где, где?“ говорит. А уж утро совсем, и солнышко к нам в окно так весело стоит; на улице стадо собирается, коровы мычат, овцы блеют, пастушонок под окнами кнутом щ-

стукнет... Тут-то я и очнулась; очнулась, и так мне стало чего-то больно и жалко: нет с нами матушки, нет!.. И залилась я горькими слезами, реву разливаюсь... Дедушка утешать меня принялся: „Не плачь, говорит, девка, этот сон тебе тоже неспроста... Вот, помяни мое слово: на твоем веке всё сбудется!..“

„И что же, девушки, хоть и горько мне было, а после дедушкиных слов ровно во мне что поднялось, будто, как у матушки, невидимые крылья у меня выросли, откуда силы взялись: утерла наскоро слезы и побежала скотину убирать; убрала наскоро скотину, умылась, причесалась, на голову новый платочек повязала (и сама хорошенько не пойму, что это я делаю; ровно за меня кто всё одумал), и пошла к старосте. „Ты что, говорит,—девка, спозаранку?“ А у меня откуда-то храбрость взялась: „Так, говорю, нельзя, Прохор Петрович: у меня вот, говорю, на руках, мал-мала меньше четверо, да дедушка старичок, а пропитанье у нас дошло до последнего, и взять нам уж больше негде“. „Так что же, говорит, мне делать-то?“ Сам удивляется. „А то и делать, говорю, что надо нам мир собрать, да одумать наши дела, да помочь нам назначить... Потому в старые времена никогда не полагалось, чтобы на миру люди от горя-нужды пропадали“... „Э, говорит, девка! Это в старые времена было... Не такой нынче мир“... „Нет, говорю, Прохор Петрович,—люди, слышно, всегда были одни, только надо душевным их тронуть... А мы, говорю, у мира в долгу не останемся...“

„Говорю так, а сама от своей храбрости [illegible] за дрожу... Подивился на меня староста, изменился, головой покачал: „Ладно, говорит, девка, соберу мир: пытай сама, хлопочи-ка сама за себя...“

„Только, не обманул, [illegible]

назначить помочь. И сама, девушки, до сих пор дивлюсь, откуда у меня дух этакой взялся, откуда таких слов набралась... Так думаю, оттого это, что всё Белый старичок у меня из ума не шел: как живой, стоял он передо мной, такой добрый да ласковый, и никакой-то боязни при нем не чувствуешь, словно он это меня за руку водил...

„Что значит надежда-то!..

„Ну, вскорости и батюшка об'явился. Попенял было ему дедушка, а он и говорит: „Что ж, говорит, и самому не сладко было. Совсем оголодал. Моли Бога, что совсем не загиб... А теперь вот, говорит, в городе в дворниках пристроился... Малым ребяткам, говорит, бобылку опять найму: живите здесь как ни то, а ты, Фенька, собирайся со мной, пора тебя к делу пристроить в городе.

„Вот и коротаю я с вами теперь свой девичий век... Вот и судьба моя вся тут. А какова она— хорошо и сами знаете. Дедушка-то помер, а батюшка мачеху взял городскую. Теперь уж ему отсюда не выбраться в родные места!..“

Феня тихо всплакнула и замолчала.

— А это, Феня, должно быть, тебе одно мечтание было—Белый старичок-то,—заметила грустно одна из девушек.—Может, это о болезни твоей сон-то был.

— Может и мечтание... Только я так думаю, недаром же люди говорят об этом... Мне, вот, девушки, всё и теперь еще этот Белый старичок представляется... Да он придет,—верьте моему слову, девушки: ведь я его, как живого, видела! Только уж мне-то его не дождаться, чую я это... Ну, да что ж, вы за нас порадуетесь!.. А мы с маменькой на вас *оттуда* будем смотреть да радоваться!..

АБРААМ.

Рассказ.

Лето я провел в одной деревеньке, верстах в двадцати от губернского города, значит — „на даче“, как говорят в провинции, хотя вся дача моя заключалась в светелке, нанятой за три рубля во всё лето у крестьянина Абрама.

Абрам был мужик лет шестидесяти слишком, высокого роста, довольно плотный, с широкой, сивой бородой и большими глазами, смотревшими из-под навеса седых бровей. Вообще, несмотря на лета, он очень сохранился; в нем не замечалось старческой дряхлости, но сам он, заметно, желал казаться дряхлее, нередко покряхтывая, пощупывая свою поясницу и горбясь более, чем, может быть, следовало. К такому невинному „остариванию себя“, если можно так выразиться, он стал прибегать с тех пор, как вырастил и пристроил сыновей и почувствовал, что страда крестьянской жизни, которую тянул он в продолжение полувека, как будто отлегла от него. Он вступал уже в число „стариков“, в этот ареопаг крестьянского мира. Не кряхтеть и не горбиться и было нельзя, это требовалось для поддержания неотъемлемо принадлежащих этому званию прав: права сиденья под ветер на завалине у общинной житницы, среди седовласых сверстников в накло-

бученных по уши шляпах-гречневиках, права неторопливых и солидных рассуждений на тему, что „без Бога ни до порога“, что „обычай блюди“, что „старики на душу греха брать не станут“ и т. п., наконец, права выпивания с подобающею важностью штрафной косушки с приличными насчет штрафованного изречениями. Этого, впрочем, показалось Абраму недостаточно; ему хотелось закрепить за собой не только право на звание „старика“ простого, но еще и „благомысленного старика“, носителя и хранителя стародавних „дедовских“ преданий, исконной морали и обычного культа. Вот почему, отделив младшего сына, выдав замуж дочерей и приведя, таким образом, согласно вековым традициям, к вожделенному концу все, что требуется по идеалу обстоятельного крестьянства, Абрам сказал детям: „Ну, родные, потрудился я для вас довольно; теперь надо мне и для своей души потщиться, сколь моей силы хватит. Пора и об душе старику подумать“. Решив таким образом, Абрам пошел к священнику и принял от него благословение в путь за сбором с доброхотных дателей на украшение местной убогой церкви. Сбирал он, ходя по святой Руси, три года, и только месяца за два до того, как я познакомился с ним, вернулся в свою родную деревню. Теперь он уже был вполне „благомысленным стариком“; почитаемый притом, с батюшкой во главе, выбранный миром в помощники церковного старосты и в десятские своей деревни, он мог мирно доживать свой век, являя собою перед молодым поколением деревни тот идеал мирного и трудового крестьянского жития, который осуществил он в своей жизни.

Жить мне у Абрама было хорошо, покойно. В семье его [illegible]. [illegible], с которыми он

жил по уговору вместе, по отделении младшего была „истинно-райская тишина", как выражался он. Действительно, его сын Антон и невестка Степанида были очень мирные люди, молчаливые, добродушные.

Преимуществом вставать раньше всех со вторыми петухами, как известно, пользуются в деревнях старики, чем они обыкновенно и любят кольнуть глаза своим молодым невесткам. Но этим преимуществом редко удавалось похвастаться Абраму. Антона не приходилось ему будить. Когда еще старик начинал только кряхтеть на печи и расправлять свои старые кости, Антон большею частию уже успевал умыться, разбудить жену. А когда показывался первый бледноватый свет, он уже выезжал из деревни, первый размахивая верею в околице, молился на видневшуюся вдали колокольню погоста, надевал шляпу, тихо и ласково вскрикивал на лошадь и, торопливо шагая, пропадал вместе с ней в густой мгле стоявшего над потным болотистым лугом утреннего тумана. Когда же Абрам, наконец, спускался с печи и, почесываясь, подходил к окну, чтобы справиться о погоде, у Степаниды уже ярко горело и трещало на очаге пламя и кипел в чугуне картофель. Пока дед молился, кладя истово, „по старине", низкие поклоны, на улице раздавался пастушеский рожок, хлопанье и скрип ворот, рев собиравшейся скотины и выкрикиванье баб, а Степанида, с нежными приговорами, выгоняла, осеняя крестным знамением, своих коров и телок, медленно выходивших из теплого парного сарая на свежий утренний воздух. После молитвы деду Абраму не оставалось ничего больше, как только сердито окрикнуть черного кота, забравшегося на стол. Как и все старики, ворчливые с утра, Абрам

читал ему длинную нотацию, не упустив случая ругнуть и, к этом Степанычу, и продолжая нравоучение на дворе, обращаясь уже к хромоногому старому Волчку, только что вылезшему из своей теплой конуры и сладко потягивавшемуся на встречу старику.

Часам к семи утра старик тихонько притворял дверь в мою половину и если замечал, что я начинал ворочаться, то говорил: „не наставить ли?“ и, предварительно разбудив своего приемного внука, принимался разводить с ним самовар. И в продолжение получаса я мог слышать, как дед обучал внука „порядку“. Утренний чай мы всегда пили вместе; впрочем, по какому-то обету, Абрам пил не чай, а только кипяток. Я всегда приглашал и Васю. Старик недовольно покачивал головой, говорил, что это „баловство“, но в конце концов соглашался и ограничивался тем, что обучал внука „учтивости“.

— Сядь с глаз подальше!.. Не егози перед глазами у старшего!—приговаривал он, отхлебывая кипяток.—Не болтай ногами,—беса тешишь!.. Чего сахар слизываешь? Кусай учтивей!—И т. п.

Вася только бойкими взмахами своей кудрявой головы откидывал волосы со лба, и видно было что он не особенно боялся своего названного деда. Он и сам был не прочь сделать ему выговор. Нередко, во время увлечения дела каким-нибудь рассказом, Вася вдруг конфузил его замечанием: „Утри, дедушка, бороду-то! Вишь, распустил по той, а еще перед барином сидишь!“ и дед, молча и послушно, спешил принять к сведению замечание несовершеннолетнего внука. Так они и вообще мирно жили, уча и наставляя друг друга, пока дело не доходило до такого явного непослушания с одной стороны, как, например, высовывание языка

ответ на самые солидные моральные истины, и до окончательного решения надометы ивовых прутьев— другой. Впрочем, тем дело и кончалось. Шестилетний внук, конечно, умел бегать лучше, чем шестидесятилетний дед.

На другой же день моего пребывания в деревне мы с дедом Абрамом вели за чаем такую беседу:

— Ну, что, дедушка Авраам?

— Ну-у, Авраам! Какой я Авраам,—улыбаясь, перебивал он меня.—Я не от Авраама иду... То Авраам, а то Абрамий мученик... Так вот я оттуда—от мученика!

Тем не менее, было заметно, что ему очень нравилось, когда я его звал дедушкой Авраамом.

— Что-ж, доволен ты своим положением?

— Доволен,—твердо произнес старик, выпрямляясь и самодовольно поглаживая бороду,—не хочу грешить, прямо говорю—доволен. Слава тебе, Господи! Потому я, Михаил Николаич, что требовается от жизни, всё исполнил, привел в окончание. Слабому опору оказал, тем, значит, и предел положил.

— То есть как это—слабому?

— Так и есть. В чем всей нашей жизни положение состоит?

Дедушка Абрам любил иногда порезонерствовать, вероятно, оттого, что придерживался негласно „старинки“ и часто беседовал с раскольничьими начетчиками.

— В чем же?—спросил я.

— А в том и есть, чтобы слабому опору оказывать. Поразмысли-ко умом-то, ан оно так и выйдет. Сначала, когда я, по младенчеству своему, слаб был, родители мне опору оказывали. Возрос я, родителям своим, по дряхлости ихней, подпору

обязан оказать... Так ли? У самого малютки пошли, их обязан в возраст произвести, ихней слабости поддержку дать. Поставил их на ноги—ну, и предел, значит, свой положил.

— Ну, а внучки?—кивнул я на Васю.

— Внучки—это уж сверх всего, это уж не в пример прочему. Это уж смотря как, значит, привержен,—говорил он, поглаживая по голове внучка, подошедшего за стаканом к столу,—это уж смотря по послушности да смиренству перед дедом,—прибавил он, улыбаясь.—Правду ли я говорю, как по твоему?—спросил он меня и, не дожидаясь ответа, продолжал:—И во всем так подобает: в начальстве состоишь—слабого охраняй; избытком от Бога награжден—слабому поддержку окажи... Вот оно, значит, какое нам в жизни произволенье. В том и до конца живота твоего держись.

— И детьми своими ты доволен?

— И детьми доволен. Дети у меня, надо правду тебе сказать, на редкость дети! Потому я их держал в послушности, в страхе Божием. Вот, примером, Антон—обойди всю волость, такого к работе приверженного не найдешь. А смиренство, тихости, так по нынешним временам и нигде не встретить! Чтобы он кому сгрубил, кого обидел или обманул—этого никогда запомнить даже нельзя! Истинно земледелец! Земле радеет. И жену ему Бог дал, не хочу грешить, бабу правильную... Тоже тихостью да смиренством перед всеми взяла; кабы родных детей им—так и совсем бы благословенное семейство было, да вот не дает Бог! Как-то уж у них и в работе-то эдакого удовольствия как будто не видно. Взяли вот мальчика, хошь и ближняя родня, а всё же не свой.. Думается им: выкормишь его, на него всю ласку положишь, а он, в возраст придя, тебе же [illegible]

делать станет. От своего это точно снесешь, а от чужого-то как будто и обидно.

— А второй твой сын, каков?

— Платон-то Абрамыч?

— Да.

— Про Платона Абрамыча—слов нет, вот он каков, Платон-то Абрамыч!—говорил внушительно и с расстановкой старик всегда, когда речь заходила о младшем сыне.—Платон Абрамыч—голова! Пройди по всей округе, спроси: знаешь Платона Абрамыча?—и нет того человека, чтоб его не знал.

— Умом, значит, взял?

— Рассудком! Головой взял! Он с младости уж был отмечен. Да вот как я тебе скажу: стояли у нас уланы, а Платон-то Абрамыч в те поры еще маленький был, так—с бабий наперсток. Вот эти самые уланы накупят пряников, орехов и давай кричать ребятишкам: „Кто в ноги поклонится? выходи!" Ну, ребятишки глупы, сосут кулаки-то, да смотрят, а мой Платошка сейчас—хлоп в землю, не в пример прочим, так все только диву даются—откуда такая, значит, у него во всему применительность!.. Ну, и накидают ему уланы полон подол гостинцев... Отцы-то да матери только и кричат: „Экое счастье этому Платошке Абрамову! Дает же Господь такой разум еще в младости! И в кого бы он такой выдался?" И я вот тоже не придумаю...

— Побойчее, выходит, Антона?

— Где ж Антону против него! Антон смирёнен, душевный крестьянин—слова нет, только против Платона Абрамыча даже и помыслить ему нельзя! Платону Абрамычу от всех почет, уважение...

— Он где же теперь живет и чем занимается?

— Занимается он, братец ты мой, по коммерческой части. Еще вьюношей он к замечатель-

ству охоты не возымел... Это уж как кому: у всякого свой талан. Вот Антон—совсем земельный человек... Он только землей да крестьянским обиходом и крепок. Отбей ты его от земли, от дома—он и совсем сгиб. Его, как и всякого крестьянина земельного, забидеть не долго. А Платон Абрамыч—тот в горожанина пошел, по матери (они, ведь, у меня от разных матерей; вторую-то жену я из городской слободы взял). Платон Абрамыч сам себе, своим рассудком, и супругу снизыскал: верст за пятнадцать отсюда, в селе, вдову, денежную вдову... Ну к ней в дом и вошел; дом у нее собственный, после мужа остался. Я его, Платона-то Абрамыча, как следует, по обычаю *отделил*, что̀ выходит, на его часть из нашего имущества приходилось.

— А ты часто у него бываешь?

— Часто. Я люблю к нему ездить. К родителю они с супругой почтительны, любящи. Приедешь, а они оба, ровно вперегонку, около тебя ухаживают: „Тятенька, вы бы водочки выкушали! Да ты что, тятенька, отварную-то воду одну дуешь! Помилуйте! Да мы вам церковного винца подпустим в стаканчик-то!“ Так это, братец ты мой, своей услужливостью проймут, что ровно масленицу маслуешь у них! Ей Богу! Истинно обходительные люди! Конечно, по коммерческой части без этой повадки нельзя! А к вечеру народ к ним соберется, гости, господа не в редком бывании, и все это к Платону Абрамычу с уважением, ну и к тебе, к родителю, уж кстати тоже, по сыну. Лестно.

— Отчего ж ты с ними не живешь? Они люди богатые, к тебе услужливые... Сладко, ведь, широко-то есть, чем тюрю с квасом хлебать?

— Зовут!. „Тятенька, говорит невестка-то, за

когда же мы удостоимся вас с собой в сожительстве иметь?"... Зовут постоянно. Только я нейду.

— Что же так?

— Да не знаю, как тебе сказать. Ровно что вот не отпущает отсюда, а что—не знаю. Думается—умереть здесь покойнее будет... Собирался, собирался, да нет вот! Погостишь с недельку, ан, глядишь, и опять сюда тянет. А обходительны!.. Непривычны мы, что ли, к этой обходительности, не знаю, как тебе это разъяснить! Да и то надо сказать: у Платона Абрамыча дело такое, что он и один при нем твердо состоит. А землевладельчеству завсегда поддержка требуется. Хоть и стар я, а всё же по силе-мочи пригожусь.

Дня через три, к утреннему чаю, вдруг является дед Абрам с французским хлебом в руках и улыбается.

— С гостинчиком и я!—сказал он.—Всё-ж как будто не даром буду от тебя кипяточком пользоваться.

— Где ж это ты достал?

— Платон Абрамыч. Кушай-ка-сь. Не забывают старика. Как только навернется от них попутчик, завсегда что ни то приспособит с ним: бараночек фунт, водочки полуштофчик (свои у них)... Утешают.

Через неделю опять тащит дед к чаю что-то в небольшой берестовой набирке и опять улыбается.

— Полакомься!—угощал он, высыпая на блюдце.

Оказалась малина, впрочем не особенно свежая и отборная.

— Опять Платон Абрамыч?

— От них. От невестки это нынче принесла. „Отдай, говорит, дедушке полакомиться... Ему, беззубому, это будет в самый раз"... Утешают.

*

Старик перекрестился и с особым удовольствием стал кушать, деликатно отправляя в рот по одной ягодке.

— Это у них своя?

— Своя. Большую торговлю этим товаром ведут. Скупают у мужиков, да в город справляют.

— Можно бы и побольше прислать тебе от большой-то торговли.

— Ну-у! Зачем баловать! Дело у них торговое. Эдак всем-то раздавать—и торговать нечем. И малым утешить хорошо.

— А помогают они вам чем-нибудь?

— По-мо-гают... как же! По-мо-га-ют,—протянул как-то нерешительно старик, — только Господь пока миловал, Антон к ним не толкался еще... Обходимся как-никак... Признаться сказать, тугоньки они на деньги, тугоньки. Дело торговое, в нем без этой придержки себя—нельзя.

Дед оставил на блюдечке несколько ягод и пошел с ними искать внука. „Васютка! Во-лесь!"—кричал он на улице и долго еще ходил по деревне с блюдцем в руках, разыскивая внука и говоря на вопросы любопытных баб: „Платон Абрамыч с супругой всей нас, старого до малого, балуют! Всё они утешают... Такие дети у меня вышли—на редкость! Слава Создателю!"

По вечерам, когда уже окончательно потухала вечерняя заря и длинные тени ночи медленно наплывали из-за окрестных холмов на лощину, в которой ютилась деревенька, мы обыкновенно сходились с Антоном на завалинке избы. К этому времени он успевал прикончить все работы и считал уже совершенно позволительным отдохнуть. Так как вместе с тенями ночи надвигались на деревеньку и холодноватые полосы тумана, то Ан-

том выходил всегда закутавшись в какой-то старый, рваный шугайчик. Покряхтывая и беспечно улыбаясь, он неторопливо набивал и закуривал трубку. Он был вообще молчалив. На вопросы отвечал односложно; из него, что называется, надо было клещами вытягивать ответ. Вероятно, скудость интересов и постоянная работа в одиночку в поле окружали его ум и душу какой-то поэтической неподвижностью. Впрочем, эта неподвижность была только кажущаяся; на самом же деле в его душе, хотя очень медленно, словно родник, пробивающийся тонкой струйкой под мягким, густым ковром травы, но всё же текла таинственная струя своеобразной жизни. Вообще неразговорчивый, не умевший отвечать на вопросы, он иногда вдруг заговаривал и поражал неожиданными замечаниями.

— Вишь как у нас по ночам дымком попахивает! Это полевой дымок! У вас, в городах, таким дымом не пахнет,—внезапно замечал он, когда неожиданно с подветренной стороны доносился до нас запах дыма от костра, разложенного собравшимися на выгоне ребятишками „в ночное“.

— Да. Это деревенский дым.

— Люблю!.. Потому, выходит, хотя и ночь, а всё же живут... Кто ни то не спит. И не жутко.

Пролетит летучая мышь, и я тороплюсь захлопнуть окно в свою комнату.

— Ты зачем от нее запираешься? — спрашивает меня Антон.

— Влетит, неприятно.

— Неприятности от нее никакой нет,—замечает он.—Ведь, это та же мышка, что по полу бегает в небе... Только что крылья ей дал Бог.. Ты знаешь ли, как она нарождается?

— Нет, не знаю.

— Она от Божьей благодати. В церкви священник, за причастием, ежели уронит на пол крошечку от просвирки и эту крошечку мышка с'ест, с того времени у нее крылья проявятся. И положено ей уж до земли не касаться, а летать в ночи... Она только на белое и чистое садится. Расстели здесь холст, она сейчас и сядет.

Пытался я его расспрашивать о близких к нему людях и интересах и получал ответы в таком роде:

— Ладно вы живете, должно быть, со Степанидой?

— Ладно. Ничего.

— Хорошая она женщина?

— Хорошая. Ничего.

— А на деревне у вас хороший всё народ?

— Хороший. Ничего.

— А старшина каков?

— Ничего... и старшина ничего.

— И писарь?

— И писарь... Надо быть, хороший и писарь.

— А становой?

— Не знаю... Не слыхал нешто.

— А брат твой, Платон Абрамыч, каков, по-твоему, человек?

— Ничего, хороший...

— А как мирские дела у вас идут?

— Ничего, ладно... Со всячинкой тоже бывает.

— Ну, а вообще-то как вам живется?

— Ничего, справляемся.

— Не тяжельше прежнего?

— Иной год справляемся, иной—нет... А вот как ты уедешь,—скучно нам будет,—вдруг перебивает он самого себя.

— Отчего же так? Какое от меня веселье?

— Так уж всё как-то, привычка. Вот теперь выйдешь из избы, ан ты и тут... Мужики тоже толкутся, ребятишки. Всё одно, как голуби к жилому месту, так и мы к хорошему человеку. Посидишь с тобой и приятно.

Странное впечатление всегда производят на меня подобного типа крестьяне. Это—тип уже вымирающий, как тяжелая неповоротливая, созерцающая кенгуру австралийских лесов, погибающая в борьбе за существование с ловкими, проворливыми хищниками новейших формаций. Он уже редок в подгородных деревнях, хотя в глуши встречается еще во всей неприкосновенности. Чем больше вы с ним знакомитесь, тем более нежные чувства начинаете питать к нему, но, вместе с тем, в вашу душу забирается какая-то досадливая грусть. Неужели же суровый закон борьбы за существование всевластно царит и в человечестве? Неужели человек не пробовал противостать его ужасному, анти-гуманному проявлению?

— —

Это было в половине августа. День смотрел как-то особенно весело. Весело смотрела и деревня, словно венком окружившая себя золотыми одоньями хлеба. Душевнее и веселее смотрели мужики. Но еще веселее и благодушнее смотрели они оттого, что нынешнее лето, не в пример прочим годам, Бог накинул им лишних две меры на меру посева. Это показал им умолот с первого же овина. Такое неожиданное приращение благосостояния в хозяйстве неизбалованного человека наполнило его душу несказанною радостию, которую спешил он выразить заявлением признательности. Накануне вечером, когда старики собрались посидеть у житницы и сообщить друг другу

результат первого умолота, дед Абрам заявил: „Помолиться бы надо!“ — „Надо! надо! Нельзя не помолиться: когда в беде, так просим, а отлегло, так знать не хотим!“—подхватили умиленные мужики. Тотчас же стукнули по окнам, собрали сход и постановили „заказной праздник“. И так, был заказной праздник, который собственно состоял в том, что решено было не выезжать в поле. Утром сходили к обедне, а после обеда все занялись „по домашнему обиходу“ и приготовлением к началу посева.

Дед Абрам сегодня был особенно благодушен и, в умилении, постоянно крестился, когда заходил разговор об урожае нынешнего лета. Крестился и Антон, крестилась и Степанида. Мы не можем составить себе и приблизительного понятия о глубине той признательности, которая наполняет душу крестьянина при сравнительно ничтожном успехе его полевых трудов. Для этого необходимо быть таким же истинным землепашцем, каков был Антон.

После обеда мы все собрались у избы и весело глядели на желтые бока холмов, с которых была снята благодатная жатва и по которым теперь, партиями раскинувшись, лениво паслось стадо.

— Вишь, какие перезвоны от стада-то несутся!—заметил Антон, когда донеслись до нас, среди невозмутимой тишины, охватившей деревню, малиновые звуки от колокольцов и бубенцов, навешанных на шеях коров. Антон широко улыбнулся и посмотрел мне в лицо с детским ожиданием сочувствия к его словам.

— Хорошо будет теперь скотинке, благодаренье Богу! Травы собрали вдоволь, соломы вдосталь будет... вздохнет! Все вздохнут—и люди, и скотина!—заметил с своей стороны дед Абрам.—И чего ж больше надо?.. Ничего больше не надо,

как только вздоху! Ежели полегче вздохнул— тут тебе и счастье!

— Ежели теперь вздохнул легко, всю зиму легко продышишь,—вставила и свое слово Степанида и вдруг вся зарделась.

Степанида была до того молчаливое, всепоглощенное физической работой существо, что редкие фразы, которые приходилось ей говорить, помимо отношения к хозяйству, бросали ее в краску, в особенности при посторонних людях.

Так наивно-благодушно беседовали мои хозяева, предвкушая ту невеликую сумму довольства, которая вся исчерпывалась словами: „только бы нам вздоху—тут и счастье!“

В конце деревенской улицы вдруг показалось облако пыли, послышался рев коровы и скрип тяжело нагруженного воза. Пыльное облако разрасталось всё больше и больше и, наконец, чуть не столбом поднялось над деревней.

— Эк напустил какую тучу! и поселенье наше всё утопил!—сказал дед, всматриваясь в облако из-под ладони.—Кто бы это такой? Надо думать, прасол.

Дед поднялся и вышел на середину улицы.

— Антон! глядько-сь ты, что-то мне мерещится, будто наши это...

И Антон стал всматриваться.

— Платон Абрамыч и есть!

— Господи помилуй! Что за оказия—всем домом снялся!—проговорил дед, когда воз почти уже подъехал к нему.—Что так?—спросил он Платона Абрамыча, в недоумении поглядывая на воз.

Платон Абрамыч,—низенький, коренастый, краснощекий, с русой бородкой, в розовой ситцевой рубахе, в картузе и больших сапогах, сильно покрытых серым слоем пыли,—шел вблизи лошади и нервно дергал ее постоянно вожжами. В ответ

делу он только отчаянно махнул рукой и, сурово хлестнув лошадь кнутом, остановил ее у ворот Абрамовой избы. Но в то время, как Платон Абрамыч собирался отвечать, с возу вдруг скатилась рыхлая, с большими грудями, уже довольно пожилая женщина, в ситцевом платье, и, истерически рыдая, поочередно припадала к груди деда Абрама, Антона и Степаниды. Сквозь ее рыдания только и слышно было, что: „Милые! родные наши! Разорились! Всё снесено! Всё до маковой росинки! Милые! родные наши! Нищие мы, нищие! Милый тятенька! Родной Антон Абрамыч! Голубушка Стёпанидушка! невестушка дорогая! Не покиньте, не оставьте сирот горьких!“—причитала она и снова по очереди начинала припадать то к одному, то к другому из них. Я встал и отошел в сторону, так как заметил, что горе этой женщины, повидимому, было настолько велико, что для излияния его ей недостаточно, казалось, было грудей родственников, и она выражала уже намерение броситься и к моим ногам. Между тем, Платон Абрамыч уже ввел лошадь с возом, наверху которого сидел мальчик, а сзади были привязаны корова, телка и коза, под навес двора, и на рыдания его супруги начала сходиться к избе вся деревня.

Я ушел к себе и из отрывочных фраз, долетавших до меня со двора, мог, наконец, узнать, что сегодня утром Платон Абрамыч погорел.

Не прошло и получаса, как ко мне вошел Платон Абрамыч, уже в вытертых насветло сапогах, умытый и причесанный.

— Весьма, значит, приятно... Как выходит, по-родственному... Потому мы дети будем этому самому старичку Абраму... Весьма приятно вступить в обхождение,—говорил он как-то особенно вычурно и с ужимками торгового человека.

— Вы погорели?

— Да-с, воля Божья. Но при всем том я не ропщу. Принимаю с покорностию.

И Платон Абрамыч присел.

Но он опять тотчас же вскочил и скороговоркой сказал:

— Стеснения не будет для вас, ежели бы сюда самоварчик... по-благородному? Потому как мы с супругой всё более по купеческому обиходу, и было бы весьма с непривычки затруднительно... ежели бы, по нашему несчастию, в курной избе... При всем том, мы хорошее обращение понимаем. Будьте в надежде!.. Жили завсегда в свое удовольствие!

Я еще не успел ответить, как в дверь, тяжело переступая через порог, вошла жена Платона Абрамыча с маленьким семилетним сынишкой за руку и тотчас заплакала.

— Ах, милый барин, не откажите сиротам! Ведь, от такой, можно сказать, приятной жизни, и вдруг чайку негде с удовольствием напиться! Каково это, милый барин, век-то изживши в обхождении с богатыми и благородными?—причитала она.

— Побалуй уж их на первый раз, Миколай Миколаич! Что с ними сделаешь!.. Невестка-то, вишь, у меня в купеческом обиходе возросла, претит ей мужицкая-то кухня,—добродушно забросил и свое словцо дедушка Абрам.

— Сделайте милость,—согласился я.

Платон Абрамыч тотчас же побежал за самоваром и скоро внес его сам в комнату, пыхтя и приговаривая:

— Мы всё сами!.. Мы, в несчастии нашем, никого утруждать не желаем! Мы скорее себе какое стеснение сделаем, нежели других убеспокоить!

За самоваром супруга Платона Абрамыча втащила какие-то корзиночки и узелки—с чаем, сахаром, кренделями, хлебом. Вынимая каждую вещь, она приговаривала:

— Мы всё с своим; мы не привыкли одолжаться, мы других одолжали, а не то что самим одолжаться... Мы к этому не привычны... Хотя и в разорении мы, и в большом несчастии, а последнюю рубаху лучше продадим, чем кого собою утеснять решимся!

Перебивая и дополняя речи один у другого, постоянно извиняясь, погорельцы, наконец, прочно основались около самовара и вполне, кажется, вошли в роль хозяев.

— Господин! сделайте милость, искушайте! Не побрезгуйте! Тятенька! да ты постой, погоди парную-то воду дуть... Ах, старичек, старичек! Скусу ты хорошего не знаешь... Маланья Федоровна! бутылочка-то где же?—спрашивал Платон Абрамыч свою супругу.

— Здесь, здесь, милый тятенька! на вашу старческую долю Господь сохранил церковного винца бутылочку... Так думать надо, угодили вы Ему своими молитвами!—дополнила Маланья Федоровна.

— Что говорить! Радетели завсегда были!—отзывался благодарный дед.

— Да мы, тятенька, это весьма понимаем, что ежели родитель! Это будьте в надежде! Престарелость мы везде весьма почитаем,—уверял Платон Абрамыч.—Где же братец Антон Абрамыч? Пожалуйста, братец, за компанию.

— А невестушка?.. Степанидушка, да пожалуйста! вот крендельков... Да вы будьте по-родственному! Вы не смотрите, что мы в несчастии, мы последнюю рубаху продадим,—дополнила Маланья Федоровна

— Да мы даже настолько к родителю привержены,— опять начинал Платон Абрамыч,— что ежели уж Господу угодно такое произволение, так мы и землепашные труды примем в помощь родителю... Окажем всякую трудом нашим поддержку.

В таком роде долго еще объяснялись супруги-погорельцы, соревнуя один другому в выражении братской и сыновней любви, пока, наконец, не перешли к разговору о пожаре. По их рассказам оказывалось, что у них сгорело всё „до синя пороха“, что и денег они, которые „праведными трудами нажили“, не успели спасти, что если что и осталось, так рухлядь, которую они даже не взяли с собой, а оставили у знакомых, чтобы „не стеснить родителя“. Тема „разоренья“ была настолько богата, что оказалось необходимым подогреть еще раз самовар. Мне надоело, наконец, это нытье, и я ушел. Но так неожиданно налетевшие на нашу мирную жизнь гости долго еще продолжали чайничать „по-благородному“.

Действительно, на следующее утро Платон Абрамыч пожелал „принять землепашные труды в помощь родителю“.

— Ну, ну, посмотрим!— говорил дедушка Абрам, пока Антон, тоже посмеиваясь, снаряжал для Платона Абрамыча борону.

Платон Абрамыч при этом не переставал выражать чувства сыновней и братской любви.

— А я, милая Степанидушка, не взирая на купеческое свое обхождение, всякие труды с тобой поделю, и коровушек подою, и воды принесу, и печь истоплю. И увидишь! как хозяйка привычный! Потому ежели такое от Господа произволенье, что мы в несчастии, то смиренно стерпу-

хино званье на себя примем, не ропща,—в свою очередь говорила Маланья Федоровна Степаниде.

Казалось, мир и любовь окончательно утвердились в благословенной семье деревенского патриарха. Так думала деревня, так, повидимому, думали и сами Абрам и Антон.

По крайней мере, они благодушно молчали. Но я, как посторонний и, при том, внимательный наблюдатель, мог с каждым днем замечать, как капля по капле просачивалось в „райскую тишину“, царившую прежде в семье Абрама, нечто „новое“, нечто такое, что, хотя и незаметно, но, тем не менее, неотразимо могло превратить эту „райскую тишину“ в пристанище злого духа. Своей непосредственною натурой чуяла то же самое, должно быть, и Степанида, так как на лицо ее с каждым утром всё гуще и гуще ложились сумрачные тени. Это „нечто“ замечалось мною в таком порядке: прежде всего, „чаепитие по-благородному и с купеческим обхождением“ продолжалось в моей половине и на следующий день, затем и еще на следующий и так далее, пока не вошло в ежедневный обиход, даже без извинений. Я этим, впрочем, не особенно огорчался, так как большую часть времени проводил „на воле“. Но не отметить этого, в сущности ничтожного, обстоятельства все-таки не мог. Не мог не отметить и того, что Вася и Степанида, спавшие прежде в прохладной клети, против моей половины, вытеснены были скоро в стряпную половину избы, в которой была нестерпимая жара и духота и где могли париться на печи только старые кости деда Абрама. Таким образом, прохладная клеть оказалась в распоряжении Маланьи Федоровны, волею ее обещанию покорно подчиниться произволению Божию „спать

сй в сенях, как горькой сироте".—Не мог не отметить я и того, что Платон Абрамыч, несмотря на столь ревностно заявленное желание „принять землепашные труды в помощь родителю", в первое же утро работы вернулся очень скоро с поля домой с изорванной сбруей на лошади и с великим негодованием на плохой присмотр Антона за земледельческими орудиями, „с которыми разве только дурак может управляться, а не то, что умственный крестьянин". После этого Платон Абрамыч больше уже не брался за землепашные труды и только резонерствовал, да с сожалением пожимал плечами, когда Антон и дед Абрам добродушно посмеивались над его „неумелостью".

Скоро Платон Абрамыч стал и совсем редко бывать дома: то он целый день беседовал на деревенской улице, угощался „с нужными людьми" водкой, то ездил по соседним деревням и селам. Скоро в нашем мирном житье образовалась правильная торговая операция. Нередко, входя в свою половину, я находил за чаепитием Платона Абрамыча в компании с какими-то очень льстивыми и ловкими сибирками, а по праздникам у нашей избы толпились мужики, что-то приносившие Платону Абрамычу в заклад, менявшиеся скотиной и лошадьми. Часто над нашей „мирной обителью" стала носиться ужасающая ругань и проклятия подпившей и обобранной кем-то бедности. Маланья Федоровна в то же время из своей клети скоро сделала не то деревенский магазин, не то кладовую: тихонько от мужей таскали к ней бабы яйца, масло, холст, кур, ягоды, и часто я имел удовольствие видеть и слышать, как она, вся мокрая от пота, раскрасневшаяся и расплывшаяся, как будто ее рыхлое тело делалось от жары еще рыхлее, восседала в своей кладовой на опро-

кинутой кадушке, и то торговалась или сплетничала с бабами, то окрикивала довольно-таки повелительно свою сношенницу Степаниду, то ругала и даже била Васю, на которого постоянно жаловался ее плаксивый сынишка. Из этого легко можно видеть, как постепенно преобразовывалось и во что, в конце концов, могло обратиться и мое деревенское „монрепо“, и мирная патриархальная обитель. И удивительное дело: чем шире и шумнее становилось торжище, чем неотвратимее вытесняло оно собою „мирное безгреховное житие“ истинного землепашца, тем этот землепашец робел всё больше и больше, тем быстрее как-то он стушевывался, тем сосредоточенно-молчаливее он делался, и только густые тени скорби и грусти всё резче ложились на его лицо. В этом торжище, действительно, как-то совсем затерялись не только Антон и Степанида, но даже сам дед Абрам. Даже я, посторонний человек, как-то оробел. Такова сила наглости. Наглость—это могучее орудие в руках хищника.

Я как-то сказал деду Абраму, что очень шумно и беспокойно стало у нас.

— Прости, Николай Николаич,—отвечал он,—да, ведь, мы тут неповинны, несчастье виновато. А с кем оно не бывает? Ежели несчастие кого угнетает, то и всяк должен постесниться, на себя часть принять. Так ли? У нас, при таком несчастии-то, чужие семьи в избу пускают, да еще не одну, одних ребятишек куча наберется... А нельзя, надо потесниться, пока обиталища себе не выведут... Надо погодить; вон, Платон Абрамыч давно уж об этом заботу имеет, чтобы к осени опять построиться.

Но предположение деда Абрама, повидимому, несовсем оправдывалось.

Вскоре после нашего разговора, вечером, возвращаясь с гулянья, я застал на моей половине чаепитие: за самоваром сидел Платон Абрамыч, дед Абрам и один из зажиточных крестьян нашей деревни. Меня, по обыкновению, пригласили к чаю.

— Какову у нас старичек-то избу вывел после пожара!—говорил Платон Абрамыч гостю, показывая рукой на стену,—хотя бы купцу впору! Хоромы!

— Пространная изба!—заметил гость

— Весьма пространная! — подтвердил Платон Абрамыч,—только хозяина при ней надлежащего нет. Старичек уж немощен, а Антон Абрамыч и сам только при умственном хозяине может значение иметь. Прикажи ему—он всё равно как лошадь отработает, а ежели что из своего понимания—этого у него весьма мало имеется!

И Платон Абрамыч распространился с сожалением о том, как такая „пространная“ изба может остаться без всякого приложения.

— Ты вот, Платон Абрамыч, свой дом выведи с этими приложениями-то, а наша-то изба и так для собственного простора пригодится,—заметил дед Абрам.

— Бог даст и свой дом выведем, и на это ума хватит! Только к тому говорим, что сердце болит, смотря на такую необстоятельность. Вот что, старичек!—с горестью заметил Платон Абрамыч.— И куда вам простор-то? Потомству хоть что ли бы его предоставить, а то и потомства в виду никакого не имеется...

— Ну, вымрем все—тебе достанется,—сказал, посмеиваясь, дед Абрам.

— Это всё воля Божия-с. А сказано тоже: „толцыте и предоставится“.

— А ты здесь, Платон Абрамыч, обжился. По нраву пришлась деревня-то?—заметил гость.

— Места привольные и здесь! А главное дело в своем понимании,—ответил Платон Абрамыч смиренным сознанием своих достоинств.

— Ну, то он и Платон Абрамыч! Платон Абрамыч—голова!.. Платона Абрамыча на болото посади, он и там гнездо разведет!.. Он не загинет! — говорил дед уже не с умилением, как прежде, а как будто с возраставшим всё больше и больше изумлением перед деловитостью своего молодого сына.

Так прошло полтора месяца; начинало пахнуть осенью, наступали заморозки, ненастье; я стал уже подумывать о переселении в город, тем более, что и на душе у меня было слишком тяжело, когда я видел, во что обратилось лихо мирное деревенское житье, и предчувствовал неминуемую погибель слабого патриархального человека под тяжелою рукой хищника. Я начинал уже разочаровываться и в патриархальной способности деда Абрама „устроить домик над своим“ и совсем перестал называть его „Авраамом“. По [illegible] дачно случилось такое совпадение обстоятельств: Дед Абрам вдруг захворал. Старичок, как и дети, недуг схватывает и изменяет быстро. Вчера ребенок был резв, весел, пухлые щечки пылали алыми румянцем и ярко сияли быстрые глазки, но болезнь в одну ночь делает из него хилое, дряблое существо: на утро его не узнаешь: бледная, прозрачная, [illegible] кожа, вместо светло-розовой, тусклые грустные глаза, с синими кругами под глазами; только бессильные руки и ноги. Так и со стариками. Дед Абрам вдруг как-то осунулся, глаза еще дальше ушли под нависшие брови. [illegible] тонкие руки и ноги [illegible]

нравственного спокойствия и довольства; ее заменило выражение строгого и сдержанного беспокойства. К вечеру он совсем слег; этим же вечером исчез куда-то и Платон Абрамыч; на следующее утро не являлись ко мне чайничать ни тот, ни другой. Но около полудня к избе подъехал воз, это Платон Абрамыч перевозил понемногу свое имущество из места прежнего своего жительства. Вошла Степанида и сказала, что дедушка просит меня сойти к нему. В сенях, около подклети, я встретил Платона Абрамыча с супругой, которые заполняли подклеть всякой рухлядью: сундуками, кадушками, банками и коробами с каким-то товаром. В них заметна была какая-то лихорадочная поспешность.

— Что это вы? совсем переселяетесь?

— На ваше местечко, господин!.. Что ж такому простору впусте находиться?.. Это и перед Богом грех!—отвечал Платон Абрамыч с каким-то особенным нахальным лицемерием.

— Мы, милый барин, не только что себе, а и другим сумеем удовольствие доставить,—дополнила Маланья Федоровна.

— А как ваша постройка на старом пепелище?

— Постройка, господин, от умного человека никогда не уйдет! Мы завсегда опять можем построиться, если в этом надобность будет,—несколько туманно об'яснил он.

Я сошел к деду. Он лежал на нарах, навзничь, сложив на груди руки. Лицо его было строго и даже сердито.

— Ну, что, дедушка, как можется?—спросил я, подсаживаясь на лавку.

Он отвечал не скоро.

— Смерть идет, Николай Михайлыч,—проговорил он серьезно и наставительно.

— Поправишься, —успокоивал я.—А что, дедушка, разве ты боишься умереть?

— Нет, умереть я не боюсь. Я только до времени умереть боюсь... Потому не всё я в закончание привел, в чем, значит, человеку произволение жизни.

Он говорил медленно, с передышкой.

— Думал, всё исполнил... Ан, выходит, жизнь-то не скоро учтешь. Учел раз, ан она опять вперед тебя ушла... Только в последний час и учтешь. Ты бы мне завещание написал,—сказал он,—так, черночек... Для нашего обихода и этого будет... Да в другое время и без него бы обошлось. А теперь...

— Изволь.

Я взял бумагу и перо и приготовился писать.

— А ты перекрестись. Перекрестимся перед началом.

Следовало короткое завещание, по которому он отказывал своему названному внуку, Василию, 15 рублей деньгами, которые лежали у него в изголовье, зашитые в груди кафтана. Тем всё и кончалось.

— А сыновей что же ты не упомянул?

— Сыновей я отделил как следует, по-дедовскому завету. А слышь!—вдруг спросил он,—Платон-то Абрамыч совсем к нам перевозится?

— Да.

Он замолчал.

— Не совладать им одним, не совладать... На меня люди скажут!—стал выговаривать он, словно в бреду, смотря неподвижно в потолок.—Пока жив ничего, а умер... всяко бывает, всяко... Не совладать им одним... До суда доведут... А суд—всё людской суд, не Божий... Ты тут, что ли, Миколаич?—спросил он.

— Здесь, Абрам Моисеич, здесь.

— Ты что-ж меня Авраамом-то ноне не зовешь? Давно уж что-то не звал... А и по деревне уж твое прозванье пошло.

— Разве нравится тебе?

— Не достоин,—проговорил он, помолчав, и затем смолк совсем.

Я положил написанную черновую завещания ему под изголовье и вышел.

На следующий день погода разведрилась. Осеннее солнце было ярко, но холодно. В свежем, прозрачном воздухе медленно плыли серебряные нити паутинника. Словно какая-то сила невольно тянула вон из дома, на волю, на простор. Мне хотелось воспользоваться последними хорошими днями своего деревенского житья, и я собрался на охоту. Хотя поднялся я утром очень рано, однако, на половине деда Абрама было уже сильное оживление—говорили громко, крупно, хлопали особенно сильно дверями. Я сначала подумал, не умер ли дед. Но строгий час смерти невольно сокращает и смиряет даже самих хищников... Когда я вошел во двор умываться, встретившаяся мне Маланья Федоровна не только обычно не приветствовала меня льстивым приветствием, но как-то особенно сердито шмыгнула мимо меня. Самовар принес мне Антон, как и всегда, благодушно-молчаливо улыбавшийся.

— Ну, что дед?—спросил я.

— Ничего. Слава тебе, Господи! Поправляется.

— Ну, вот и хорошо... А что это вы там расшумелись так с раннего утра?

— Ничего. Тут мы не при чем... Дело родительское.

Антон улыбнулся и тотчас же перебил самого себя замечанием насчет поэтической „приятно-

сти", с которою распевал песни весело шумевший самовар.

А когда я совсем оделся, взял ружье и вышел, то на завалинке нашей избы встретил деда Абрама, сидевшего среди четырех-пяти таких же стариков. Седые или совсем белые, как лунь, лысые или с выстриженными, по-стариковски, маковками, они грелись от утренней свежести в своих дырявых полушубках.

Дед Абрам, несмотря на то, что был слаб и его била лихорадка, старался шутить и глядеть веселее.

На мое приветствие и на мой вопрос, о чем они толкуют, дед отвечал:

— А вот гадаем кому раньше в гроб ложиться, так грехи учитываем, чтоб уж чисто было... А коли что забудется, так пущай, кто живые останется, за покойника справит. Об чем нам больше толковать-то? Нами уж и тына не подопрешь!— шутил дед Абрам.

Старики утвердительно кивали на его слова головами и подкрепляли их приличными изречениями народной мудрости.

— Разгуляться идешь?—спросил дед.

— Да, да.

— Ну, ступай! Побегай, пока молод. А состаришься, как мы же, так больше того, что грехи учитывать, не придется.

Я проходил весь день и вернулся только к вечеру. Каково же было мое изумление, когда я увидал следующую необычную сцену. От ворот, с завалин и из окон изб любопытные деревни внимательно смотрели по направлению к избе деда Абрама, от которой неслись какие-то истерические рыдания, перемешанные руганью и всякими [illegible] причитаниями. Я узнал голос Ма-

[illegible] Федоровны, ни у самой избы еще не было никого заметно. Когда же я подошел на середину деревни, вдруг навстречу мне из ворот Абрамовой избы выехал тяжело нагруженный всяким скарбом воз, и на нем, как и раньше, сидела с своим сыном Маланья Федоровна. Она что-то кричала, обращаясь по всей деревне, между тем как сам дед Абрам, спотыкаясь слабыми ногами, с открытой головой, выводил торопливо лошадь из-под [illegible] на середину улицы. За этим возом, из-под ворот, выехал другой. Как и прежде, нервно и зло дергая вожжами, ехал за ним Платон Абрамыч в розовой ситцевой рубахе, в жилетке с разноцветными стеклянными пуговицами и в новом суконном картузе. Он был красен и весь в поту от волнения, а широко открытые глаза его, как у помешанного, бегали из стороны в сторону.

Дед Абрам поставил лошадь по направлению к [illegible], сделал несколько шагов с ней по дороге, [illegible] ее вожжами, потом перебросил их ей на спину и, отойдя, махнул вслед [illegible] рукой.

— Добрые люди! Добрые люди! Посмотрите! Полюбуйтесь! Какие дела-то у нас делают, дела-то какие! — [illegible], разобрал я, как причитала Маланья Федоровна, подбирая брошенные [illegible] [illegible]. — Родители детей своих изгоняют! [illegible] [illegible], [illegible]! [illegible], да видано ли это дело! За какую-то [illegible]! За обходительность-то нашу! Полюбуйтесь, добрые люди! — [illegible] [illegible] [illegible], [illegible] постоянно и [illegible] [illegible] [illegible] лицо.

— С Богом! С Богом!.. — [illegible] ей в ответ дед Абрам, махая рукой, но [illegible] проехал мимо [illegible] Платон Абрамыч, не [illegible] ни слова, и только [illegible] [illegible], что [illegible] [illegible] в сторону [illegible] не [illegible]. [illegible], и оба

воза скрылась за околицей. Но долго еще из-за околицы неслись в деревню выкрики и причитания Маланьи Федоровны.

В это время уже почти совсем закатившееся солнце выглянуло в ложбину между холмами и последними красноватыми лучами облило деревенскую улицу, на середине которой всё еще стояла высокая несколько сгорбленная фигура седого старика, в синей изгребной рубахе, посконных штанах и лаптях, с открытой головой и широкой сивой бородой, которую раздувал слегка налетавший из-за околицы сырой вечерний ветер. Наконец, он, поглаживая бороду и задумчиво опустив голову, поплелся медленно к своей избе.

Я уже успел раздеться и, усталый, лег на лавку. Какая-то безмолвная тишина воцарилась неожиданно кругом. Легко вздохнулось груди. Так после мучительной, но искусной операции трудно стонавший больной вдруг чувствует, как невыносимая тяжесть свалилась с его плеч и его грудь вздохнула свободно в первый раз после долгих, мучительных, бессонных ночей. И вот среди этой тишины раздался знакомый звук: скрипнула тихо дверь, в нее выглянуло благодушное лицо деда Абрама и раздался обычный прежде, но давно уже забытый вопрос:

— Не наставить ли кипяточку?

— Да, да, дедушка Авраам! Непременно!— воскликнул я.

И затем опять услыхал я нетерпеливую хлопотню деда со внуком около самовара и обычные обучения „порядку“.

За моим самоваром опять очутились мы втроем: я, дед и внук.

— Ну, что, дедушка, получше ли тебе?—спросил я.

— Получше, кажись.. А всё плохо... Чую, что всё уже не то что-то... Оборвалось!

Действительно, хотя он и старался, попрежнему, благодушно улыбаться, но что-то страдальческое виднелось в этой улыбке, а державшие блюдце грубые, заскорузлые руки, дрожали так, что чуть не выливалась с него вода. О Платоне Абрамыче мы не говорили больше, так как на мой вопрос: „Почему это всё так случилось?“ дед отвечал нехотя: „Что тут! Видимое дело“...

Очевидно, ему было тяжело говорить об этом.

Скоро я распростился с дедом — и навсегда.

Полгода спустя, в начале весны, я встретил в городе приехавшего и базар Антона. Он сообщил мне, что деду становилось зимой всё хуже и хуже, что на Рождестве его похоронили, что Платон Абрамыч на похоронах не был и что на деревне и на селе, у попов, посейчас еще, вспоминая старика, прозывают его не иначе как дедушкой Авраамом.

ЛЕС.

I.

Мы (я и двое моих спутников) шли лесом, пробираясь для сокращения пути узкою тропой. Чем больше углублялись мы в густую чащу дерев, тем сильнее охватывало меня какое-то странное, неопределенное ощущение страха, смешанного с тем чувством благоговейного уважения, какое невольно является, когда входишь в сумрачные руины или отдаленный, давно непосещаемый храм. Это был лес, который в станице называли „дремучим", нетронутый еще топором,—обрывок из тех знаменитых муромских лесов, о которых так много сложено в детстве страшных сказок. И я, очарованный, с непритворным уважением и страхом смотрел на столетние сосны, обросшие кругом густым [illegible], с [illegible], [illegible] [illegible] до самого низа, [illegible], [illegible] обросшими [illegible] головами,—и в воображении невольно вставали страшные „глубь времен", с Соловьем-Разбойником, владевшим узкими лесными тропами, Ильей-Муромцем, [illegible] свою [illegible] дубину из этих темной, с татарами, оставившими свой след на целые столетия даже в этих непроходимых дебрях,—и [illegible] [illegible] про страшные и таинственные „лесные люди", разбойники и богатыри... Но кроме того, [illegible] [illegible], „[illegible] [illegible]",—[illegible] [illegible] [illegible], [illegible], которые смущали меня еще больше...

Только тридцать пять лет я не был в этих местах, с тех самых пор, как мой отец, бывший управляющий одного богатого имения, [illegible] должен был бежать отсюда в город, где и поселился с тех пор навсегда. Мне было [illegible] лет [illegible]; ни одно из детских впечатлений не оставило во мне на всю жизнь такого следа, как это [illegible] „бегство", каким-то резким углом вдвинувшееся в мою жизнь.

Помню, был конец зимы, в начале поста: чуть начиналась оттепель; мне всё стало казаться как-то серо, неуютно, скучно, непривлекательно кругом. В доме, где мы столько лет жили, был полный беспорядок: старая [illegible] мебель торчала всюду, сдвинутая с своих обычных мест; огромные узлы с разной хозяйственной рухлядью горами лежали посредине комнат. Дворовые люди—старики, парни и девушки—связывали их веревками, [illegible], очень усердно и степенно, когда выходили отец или мать, и смеялись потом украдкой (в особенности молодежь), когда их не было налицо; я это заметил из соседней комнаты, когда незаметно для них останавливался в дверях, бродя растерянно с одного места на другое: мне это показалось обидно и больно [illegible] мое детское сердце. „Они все такие!" припоминались мне слова отца,—и я поверил этим словам теперь. Я любил отца и мать, и их [illegible] всегда находили [illegible] в моем сердце. Когда пришел внезапный приказ барина немедленно передать управление имением старосте и тотчас же выехать,—и отец, и мать были поражены „[illegible]", и я вполне им верил и скорбел вместе с ними. „О мужиках" я, впрочем, был [illegible] мнения,—и не любил их; при том я [illegible] видел их только „[illegible]", из [illegible].

Напротив, в дворне у меня были свои любимцы,— это старая няня, девушка Маша и кучер Сидор, который учил меня ездить верхом, делать кубари и ловить птиц; но я их зато и не считал „мужиками“. Мужики—те, что должны пахать, косить, приносить оброк, те, которые жили там, под соломенными крышами, в деревнях, совсем другие люди.

Надо было ехать. У крыльца давно уж стояли возок и двое саней, заложенных тройками мужицких лошадей, тощих и шершавых; около них ходили те „мужики“, которые должны были нас везти до первой почтовой станции. Я, одетый в теплый тулупчик и валенки, то и дело выскакивал на крыльцо, и, помню, был как будто тоже очень озабочен, огорчен и сердит, как отец, и всё молчал, едва даже отвечая на ласки дворни. Я, очевидно, незаметно для себя подражал отцу! Он всё последнее время был очень тревожен, а в особенности теперь, пред отъездом, хотя, видимо, старался пересилить себя, даже был как будто мягче, ласковее, чем прежде. В его голосе слышалась даже грусть, когда он говорил с старым дворецким:

— Ну, что, Панфилыч, ты говоришь—надежны будут они? (кивал он головой к окну на стоявших у крыльца мужиков). Ты кого взял?

— Будьте надежны, батюшка,—отвечал Панфилыч:—что вы? Господь с вами!.. Люди известные—Петр Горелов, Фрол Демидов, да...

— Они? Гм...—пробормотал отец и чуть наморщил брови.—Смотри, лесом поедем, поздно, вишь, как запоздали...

— Будьте благонадежны,—продолжал утешать Панфилыч,—всё Господь...

После этого разговора, когда я выбегал на крыльцо, мне стало казаться уже, что „мужики“, ходившие около лошадей, постукивая нога об ногу

в больших валеных сапогах, о чем-то подозрительно шепчутся... А когда я заметил, как отец вытащил из-за комода старую заржавленную шашку и велел Панфилычу положить ее в возок, а мать, одетая в салоп и капор, всё припадала на колени перед иконами, со слезами на глазах,—я стал дрожать, как в лихорадке. „Господи,—думал я,—скорее бы только добраться до города, дальше, как можно дальше от *всех этих людей*“... В эти минуты для меня опостылел этот дом и из ребячьей моей души исчезли все наивные, безгрешные детские радости, которые я находил когда-то здесь. Что-то суровое, черствое, леденящее оставляло мне в наследство проведенное здесь детство,—наследство, от которого освободили меня только долгие годы тяжких и мучительных испытаний.

Наконец, мы уселись в возок и, пустив вперед подводы с кладью, двинулись „гусем“ из деревни, в которую уже многим из нас не пришлось никогда вернуться. Немногие провожали нас с грустью,—и то, может быть, просто от привычки,—старая няня, да девушка Маша плакала, стоя на крыльце; кучер Сидор всё только больше сморкался и в заключение подарил мне на дорогу старую гармонику. Ни мужиков, ни баб, как бывало прежде, не толкалось у крыльца. Мы выехали за деревню и возок, покачиваясь и купаясь в ухабах, потонул в безбрежном море снеговых полей.

Я сначала был напряженно внимателен: ловил каждый звук и каждое движение возка, и окрики ямщиков казались мне подозрительны. Мы все молчали; мать крестилась то и дело; отец откинулся сердито в самый угол и только иногда, отворотив рогожную занавеску у окна, что-то приказывал Панфилычу, провожавшему нас до первой станции и сидевшему рядом с ямщиком, на

что Панфилыч повторял одно и то же: „Будьте благонадежны... Господь-Бог даст доедем!“... Сестра Лиза, моложе меня годом, прикорнула к плечам отца и, кажется, уже заснула,—и только другая сестренка, грудная, лежавшая на коленях у матери, плакала каждые пять минут. Мне тоже хотелось спать, но я дал себе слово не засыпать, пока не проедем „страшный лес“. Я решился защищаться от кого-то вместе с отцом.

Становилось темнее. Я всё ждал, когда будет лес, но спросить стыдился... Между тем я начал дремать... Не знаю, сколько прошло времени после того, как я заснул. Меня разбудил чей-то говор, потом перекликавшиеся голоса. Я проснулся: отца не было в возке. Мать читала почти вслух молитву и крестилась; маленькая сестренка кричала. Меня охватил страх и потом стыд, что я заснул. „Лес!“—мелькнуло у меня в голове. Я выглянул в окно. Темные, мрачные стены деревьев окружали нас. Свет был только от снега.—„Где же мы?—спрашивал отец,—что же вы наделали?“—„Что поделаешь?—отвечал Панфилыч:—всё перемело!.. Говорил ему—левее... Нет же, брат, ты [illegible]... Да уж какие это ямщики—прямо нужно [illegible]!.. А говорит: знаю!..“—„Что ж это за люди?“—спрашивал отец.—„Кто ее знает!..—отвечал уклончиво Панфилыч,—может [illegible], а может“... Он не договорил,—„Вот видите огонь,—сейчас узнают“... Скоро из глубины леса мигнул огонь фонаря, послышались чьи-то голоса. Вот показались четыре фигуры и стали медленно ходить около нашей.—„Вы кто такие?“—спрашивал отец. Но [illegible] вполголоса говорят между собою и не отвечают. При полусвете [illegible] я могу [illegible] фигуры, [illegible] и [illegible]; мне кажется, [illegible]

[illegible] обступают возок.
Панфилыч, очевидно, оробел и что-то не сообра-
жает с ними, а [illegible] возка. Отец
еще что-то спрашивает,— ему опять не отвечают.
Вот он подошел к возку и просунул в окно руку:
я отчаянно схватился за нее: она была холодна,
как лед, и дрожала.—„Ты чего?“—спросила мать.—
„Ничего, успокойся... Все обойдется“,—говорит
отец и незаметно вытаскивает из возка шашку...
Вдруг мать высовывается в другое окно и начинает
говорить: „Православные... будьте милосерды...
пустите на выручку... Бог вас не оставит... [illegible]
ребенка [illegible] испугалась
я... не ради себя прошу, ради малого дитяти“...
Мне обидно, что мать, „барыня“, вдруг стала так
униженно умолять этих грубых мужиков. А му-
жики опять ничего не ответили —и вдруг ушли с
фонарем обратно в лес. „Что же это будет? Где
же [illegible]?“—крикнул отчаянно отец,
хотя голос его, видимо, дрожал.—„Вот пойти бы
[illegible]—ворчит Панфилыч.—Постой, слышь: это наши
[illegible] отбился кум!..
Он и есть!.. А-у-у!“—закричал Панфилыч... В
лесу кто-то откликнулся. [illegible] между
деревьями фонари.—„[illegible] не бес-
покойтесь! Говорят: [illegible]“... Это наши
[illegible] „А кто живет в этой избе?“—
спрашивает отец.—„[illegible]“—
говорит [illegible].—„Вот [illegible]
то... [illegible] Вот
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

цовскую руку... „Вишь какой прыткий!—замечает добродушно Фрол.—Ну, мотри, барченок, ножки не сломай один-то... Что ж, идемте, что ль?“...

Отец как будто колеблется одну минуту, но мать, крестясь, уже идет за Фролом, неся на руках до истощения кричавшую сестренку. Отец взял на руки другую сестру, схватил за руку меня, и мы двинулись в глушь леса. Я едва дышал; меня била лихорадка. Смутно помню, как мы ощупью вошли в большую черную, задымленную, нахолодавшую избу; в ней было пусто; стоял только стол да две лавки по стенам. Те же мужики, которые приходили нас осматривать, толкались в дверях, в своих высоких, набитых льном бараньих шапках,—высокие, кряжистые, бородатые. Но их теперь было больше; у некоторых торчали за кушаками топоры. Они то входили, то выходили из избы, без всякого уважения к нам, к которому мы так привыкли; прямо и как-то вызывающе и попрежнему не говоря с нами ни слова, они глядели на нас, словно взвешивая и соображая что-то. Отец старался не глядеть на них. Мать, нервно, дрожащими руками, пеленала сестру, продолжавшую кричать благим матом на всю избу. Между тем, за дверью, в сенях и еще где-то шумно говорили: кто-то кричал громко, кто-то возражал.—„Ох, Господи, помилуй! прости наши великие согрешения“—расслышал я, как где-то вздохнул Панфилыч; но я его не видал. Вдруг дверь с размаха отворилась, и в избу, с полштофом в руке, пошатываясь, ввалился молодой мужик, красный и, повидимому, веселый.— „Эге! Вона кто!“ — крикнул он — и вдруг стал обмеривать отца глазами. Отец обернулся и чуть не упал. Но он овладел собой и, невольно сдернув с лавки шапку, сурово взглянул

на парня. Парень раскатом засмеялся и вышел опять из избы.

Мне еще долго слышался за дверьми и его раскатистый смех, и громкий голос. Вот опять растворилась дверь, и в избу вошел высокий, сухой, скрюченный, как старая береза, старик с копной седых волос на голове, вместо шапки, с жидкой седой бородой, в дырявом, коротком полушубке. Смотря как-то поверх всех нас безучастно и строго, он неторопливо проговорил, обращаясь, повидимому, к матери:—„Ну, управилась, что ли, с заботой-то?.. Затих, должно?.. Ступайте, коли так, с Богом... Пора... Не в гости заехали... Пока милует Бог, то и уезжай“...—„Что ты говоришь?“—спросил его отец сурово.—„Ступайте, говорю, выбирайтесь, пока, с Богом,—продолжал старик прежним тоном.—Мы вас не видали,—вы нас... Что нам вместе делать: добра у нас вместе не будет, а зла в миру и без того много... Выбирайтесь... Эй, давай фонарь!.. Света!..“—крикнул он в дверь.

Опять что-то громко заговорили за дверью, опять заходили мужики в шапках, опять замигал фонарь... „Осторожней ступай, барыня, с ребенком-то... Ведь, здесь лес! Забирай левее-то“.—опять послышались голоса наших ямщиков. Вот мы наскоро усаживаемся в возок; ямщики торопливо оправляют упряжь на лошадях. „Так влево свернуть? А там опять по перелеску?“—„Влево, влево!.. Вишь, ведь, куда нас сбило!“—слышу я—разговаривают мужики.—„Ну, спаси вас Христос!..—говорил Панфилыч кому-то,—в век не забудем ваших милостей... Ох, Господи, прости наши великие согрешения!..“—„Трогай!..“ Вдруг рогожка у окна нашего возка распахнулась и я ощутил чье-то теплое и пьяное дыхание. „Ну,

хранай, господин!.. Моли Бога крепче, что це. уходишь!—закричал кто-то пам.—Эх, такое. зна чит, счастье твое... Помни Сеньку, а он тебя н забудет!.. Так-то: моли Бога неустанно за Сеньку что он к тебе милостью снизошел... Ха-ха-ха! Трогай!“ Лошади дернули, возок покатился, а др ний смех пьяного парня долго еще слышался мн сзади; среди внезапно наступившей тишины не как будто что-то пришибло всех. Молчал отеі молчала мать, даже маленькая сестренка тепеі совсем смолкла, и только слышался визг полозьє да храп лошадей.

Так прошло больше получаса.

— Птрру!—раздалось с передка, и возок, спе чала юркнув в какую-то яму, быстро подале опять и остановился.

— Что такое опять?—крикнул отец, видимо, сильном волнении. У меня сначала замерло сердц потом я ощутил, как забилось оно, часто и сильн как голубь.

— Будьте благонадежны... Ничего-с, все благо получно,—сказал Панфилыч, подходя к отцу.— Слава тебе Создателю!.. Выбрались из бора. Теперь на тракту... Вот только упряжь поупра [illegible] за милу душу!.. Теперь слаі [illegible] Господи!.. Будьте благонадежны!.. А т [illegible] что было страшно-то!..

— А-а!—протянул отец. И мне показалось, чт он глубоко вздохнул, как будто с него свалилос [illegible] который за [illegible] и стал [illegible] свеч [illegible] лицо матери, с глаза [illegible] вверху, со сложенны на груди руками

— [illegible] Отец наш [illegible]
[illegible] Создатель наш!—говорила она.—

Ты послал нам ангела-хранителя! . Ангельские непорочные детские души умолили невидимо за нас!.. Молись!—вдруг строго прибавила она мне.

Я растерянно снял свою шапку и как-то стыдливо и неуверенной рукой перекрестился.

— Подлецы! разбойники! душегубы,—говорил отец, перестилая подушки.—Все они такие!—прибавил он и, отворив дверцу возка, вышел на волю.

— Ну, слава Тебе, Создатель!—заговорил Панфилыч, подходя к отцу.—Вот было какие большие дела вышли... Ах ты батюшки!..

— То-то вот и есть,—сказал отец,—что я тебе говорил!..

— Да это всё передовой... какие это ямщики!..

— Кабы не молоденчики, слышь, было бы тут всем нам!—заговорили и подошедшие ямщики.—Бог,—одно слово... Экий народ какой грубый, безбоязненный...

— Что им! — говорил Панфилыч. — Им тут вольно в лесу-то.

— И вы тоже хороши!.. Все вы—одного поля ягоды!—сказал отец.—Все готовы головой были выдать... Ты куда спрятался тогда, а?—спросил он Панфилыча.

— Да, ведь точно,—проговорил было он, и я видел в раскрытую дверцу возка, как Панфилыч развел стыдливо руками и, не договорив, вдруг заторопил ехать...

— Ну, братцы, проворней, засаживайтесь!—закричал он ямщикам.—Извольте садиться, теперь хорошо—приглашал он и отца, поправляя подушки в возке.—Теперь слава Богу!.. Теперь уже всё слава Богу!.. Вот садитесь, да прилягте усните, и сударыня пусть уснет, и барчаты... Теперь уж на трахту, будьте благонадежны!.. Вишь какой переполох вышел: и уснуть вам не дали...

*

Вишь, какую Господь беду отвел!.. Ну, и слава Ему, Создателю!.. Лес страшный, что говорить!— болтал Панфилыч, пока усаживал отца.

— Трогай!—крикнул он, залезая на передок.— Ну, коли так обошлось, то и слава Богу!—прибавил он своему соседу ямщику.

— Коли обошлось,—на что лучше! Видимо, Божий перст!.. Эх, вы, голубчики!—весело крикнул тот.

Возок весело покатил по ровной дороге,—веселее стало и мне. „Слава Богу!—шептал и я:— скорее, скорее от этого леса, дальше туда, в город!..“ И я давал в душе клятву, что никогда уже не вернусь сюда к этим людям.

II.

Не думаю, конечно, чтобы всё то, что я рассказал, я мог так отчетливо видеть и слышать в то время, но все окружающие меня так много и подробно после разговаривали и рассказывали об этом событии, со всеми малейшими деталями, что как самые ощущения (они-то уж, несомненно, были мною пережиты самим), так и вседействующие лица, их выражения и поступки—всё это отлилось в моем воспоминании с замечательной отчетливостью. Даже теперь, когда я пробираюсь через этот лес, почти тридцать лет спустя, я иногда ощущаю невольную дрожь и мне казалось, что кругом меня лежат глубокие снеговые сугробы, что мрачно, как застывшие, стоят безучастно ко мне вековые сосны, что вот-вот мигнет из-за них таинственный свет фонаря и покажутся опять эти „темные“, рослые, бородатые мужицкие фигуры и, так же подозрительно глядя на меня, будут молчать на все мои призывы...

Но... теперь была, хотя и очень ранняя, весна,

вместо сугробов только кое-где лежали глыбы грязного тающего снега; среди вековых сосен сочно зеленела то здесь, то там, всюду как будто выпирая на дорогу, молодая зелень, разбивавшая пахучую почку; лучи солнца играли высоко по верхушкам деревьев, бросая мягкий, ласкающий полусвет вниз, где было еще сыро, грязновато, но уже зелено и душисто. Мне даже как-то стало обидно, когда я, еще полный своими эпическими воспоминаниями, вдруг заметил, что лес быстро начал редеть—и через несколько минут он оборвался: перед нами на далекое пространство раскинулась зеленевшая первым всходом пашня. Лес отступил в бок и синел только далекой длинной лентой. Мне как-то жалко стало так скоро расставаться с лесом, и я предложил своим спутникам присесть покурить.

— Что ж, покурим... Можно, Василий Петрович, можно, друг любезный, минутку и погодить,—отвечал один из моих спутников.—Вишь, мы куда тебя завели!.. Думал ли ты сюда когда ни то попасть, а? из столицы-то?.. А мы : а ташили!.. Мы еще тебя туда ли затащим... Ха-ха-ха!—весело рассмеялся он.

Мне самому весело стало. И замечание моего спутника, и его веселый, добродушный смех, и странное наше товарищество, вдруг соединившее нас в этом лесу, и эти воспоминания,—всё это показалось мне необычайно забавным, и я передал своим спутникам всё, что только что было мною рассказано.

— Так вот как, Семион Потапыч, твое слово как раз пришлось кстати,—сказал я, в заключение, худому, среднего роста, на кривых ножках человечку с зеленоватым лицом, с быстрыми узенькими глазками в потасканной фуражке фабричного

покрое и длинном до колен старом пальто без талии, с оборванными с одного борта пуговицами.

— Угодил в самый раз, Семион-то Потапыч!— заметил другой мой спутник, высокий широкоплечий, мужиковатый мужчина, лет тридцати, с кудрявой бородкой, одетый по-крестьянски—в портки и рубаху и в серый казакин нараспашку. И сапоги у него были настоящие „мужицкие“ сапоги, большие, широкие, сыромятные, между тем как у Семиона Потапыча глядели из-под длинных пол пальто не сапоги, а „сапожишки“, барского фасона, порыжелые, с опустившимися голенищами и со сбитыми на бок каблуками. Спутник в сыромятных сапогах был, кажется, очень доволен тем именно, что Семион Потапыч „угодил в самый раз“, он даже привстал от удовольствия с пня, на котором было уселся.

— Понуждался тогда, а? что, верно?—спросил меня Семион Потапыч, свертывая сигаретку.— Может, и теперь еще побаиваешься, а?.. Есть тот грех, говори правду?.. Что?.. Подлецы мол, все мошенники,—им, мол, в душу-то не влезешь, все, мол, они такие: так что ли? Говори, подумал, а?

Я молчал и улыбался; меня занимало то, как хитро посмеиваясь, но подозрительно поглядывал при этом [illegible] на меня Семион Потапыч.

— Что ж молчишь, а? говори!—продолжал Семион Потапыч, докуривая сигаретку, но теперь уже всё лицо его изменилось: он смотрел на меня до того любовно, до того ласково и мягко, что мне казалось, что в его маленьких серых глазах сверкали слезы. Он вдруг потрепал меня по плечу и воскликнул:—Эх! Василий Петрович!.. Плюнь! Василий-то Петрович, ведь, с нами, а?—подмигнул он товарищу.

И [illegible] взглянул на него, потом на меня, и [illegible]

лицо его просияло тем неуловимо-девственным и стыдливым выражением, которое не раз я уже примечал в нем и которое было так хорошо знакомо мне по другим лицам, с которыми встречался я при другой обстановке и которые сделались для меня дороги потом на всю жизнь. Это-то девственно-наивное выражение неопределенной радости, томления, просветления и чувство предвкушения духовного родства, которое бывает только у чистых душой юношей, переживающих первые минуты духовных симпатий... Я ловил его у *наших* юношей там, в городе, среди другой обстановки,—и оно *там* всем давно знакомо и все привыкли его видеть и находить *там*, но оно было и здесь всё то же, такое же чистое, безгрешное, доверчивое...

Но позволю себе сначала кое-что еще сказать о моих спутниках.

Месяца за три до этого разговора, когда я только что приехал в эту местность из Москвы и поселился временно в уездном городке, мне совершенно случайно пришлось взять на себя дело в мировом суде (хотя я вовсе не адвокат по профессии). У мещанки-хозяйки, у которой я жил, был сын, лет 12, худосочный и болезненный мальчик; отдан он был в ученье к портному-соседу, буяну и пьянице. Хозяин часто пьяный был и истязал этого мальчика ужасно. Надо было хоть сколько-нибудь пристрашить буяна и „привести в свой вид", как просила даже сама жена портного. Случай не заставил себя долго ждать,—и вот мать мальчика и, косвенно, сама даже жена портного уговорили меня „защищать". Я согласился, и пошел к мировому судье и сказал „защитительную речь", путаясь, волнуясь, то обвиняя, то [illegible] оправдывая даже самого портного. Одним словом.

моя речь в адвокатском смысле никуда не годилась, да и не в ней было дело, а в фактических уликах, которых и без того было достаточно. Мировой судья и без меня обвинил бы, может быть, еще строже портного, а я, напротив, своей речью даже смягчил вину подсудимого. Как бы то ни было, я был почему-то взволнован и красен, как школьник, выдержавший трудный экзамен, и вытирался платком, когда подошел ко мне „из публики“ маленький человек на кривых ножках и, болтая в воздухе руками, вдруг заговорил необычайно живо:

— Хорошо!.. Очень бесподобно!.. Вы не здешний?.. Нет, я вижу... Очень бесподобно!.. Одно слово... от душевной теплоти—вот и всё!..

— Вы довольны?—спросил я.

— Весьма доволен!—ответил он.—Только не в том дело, что этого самого пьяного человека вы в кутузку приспособили... Это само собой-с... Этим всё одно не поправить... Нет-с, это мы по себе знаем... Ежели вы на это надеетесь,—это пустое...—А главное дело—слово... от теплоты души, вот!.. И больше ничего! И чудесно!.. И весьма вам благодарны!..

И маленький человек совал мне свою руку в знак благодарности.

— Вы кто будете?—спросил я.

— Семион Потапыч Рябчиков, по мастеровой части!—бойко ответил он.—Если желаете со мной познакомиться, я с большим моим удовольствием... Вы где живете? Позвольте зайти?.. Главное дело: одно слово и тут вся душа!.. Всё взволнуется во внутренности... Одно слово от души-сердца—и сейчас тебя тревога... и во всех членах!—об'яснил он мне со слезами на глазах, весь восторженный, какой-то подвижной, как ртуть, когда мы шли с ним ко мне на квартиру. С тех пор мы стали

друзьями. Он ходил ко мне очень часто, когда был в городе, и уж непременно „вырвется хоть на денек“, если судьба уносила куда-нибудь жить за город. Он брал у меня читать книги, говорил обо всем по целым часам. Я нашел в нем не только недюжинный ум, но тот особый вид народной интеллигентности, который я не могу назвать лучше, как *вдумчивостию*. Его занимало и волновало всякое выдающееся событие, и он анализировал его до корня, неотступно. Вот этот человек и был Семион Потапыч Рябчиков, и именно Семион, а не Семен, потому что когда и кто бы его ни называл „попросту“, он тотчас поправлял: Семион Потапыч. Почти одиночка (у него была только сестра, занимавшаяся в городе шитьем,— незамужница и что-то в роде „чернички“, скромная, добрая, ходившая в черном платье и черном платочке; да еще был дядя, занимавшийся землепашеством на городской земле), Семион Потапыч вечно бродил с места на место, с одной работы на другую; был он не то кустарь, не то фабричный по „ножовой“ части; иногда он сам начинал работу самостоятельно в своей мастерской, иногда же бросал и нанимался на фабрику, а иногда, набрав товара с фабрики и от товарищей, надолго пропадал в разных городах и селах. Знакомых у него всюду была бездна; любили его все за прямодушие и несколько восторженно слезливый тон его и манеры. Мне он сначала показался несколько слащавым и слезливым, но после я имел случай убедиться совсем в противном: он иногда являлся не только скептиком, далеко заглядывающим в чужую душу и в свою собственную, но суровым и настойчивым, когда доходил до настоящего дела.

У каждого, кто подолгу живал в провинции и

делал „настоящее дело“, а не только служил и получал оклады,—будет ли то земский, добросовестный, внимательный и самоотверженный врач, акушерка, учитель,—у каждого, говорю я, непременно сохранилось воспоминание хотя об одной такой личности, как Семион Потапыч. Видоизменения этих личностей бесчисленны как в городах, так и в деревнях, среди крестьян, мастеровых, фабричных, солдат,—но тип их всегда один: привязчивые, признательные, благодарные, любящие, честные и преданные, они большею частию являются откуда-то внезапно, всегда по какому-нибудь, совершенно случайному обстоятельству, словно нарочно несутся они течением именно к известному месту, лицу,—и затем присасываются к вам, иногда даже до надоедливости, как улитки к какой-нибудь щепке около берега. Эти чудные, светлые создания всюду разбросаны по лицу русской земли, среди „коренного“, так сказать, населения, как блестки дорогой, еще мало оцененной, руды среди основного грунта. Это всегда почти одиночки, „особняки“, глубоко несчастные исключительно одним тем, что разбросаны они друг от друга, что иногда даже не знают о существовании один другого,—отчего часто впадают в отчаяние, в апатию, бессилие в одиночестве сделать что-либо с окружающей средой,—и поддерживает их только всегда вера, что придет время, раздастся мощное слово и соберет оно всех их в одну общую „церковь Христову“, и узнают они, что не одни... Но когда будет это?.. До сих пор пока мало обращали внимания на эти честные души.

Другим видоизменением этого типа был Илюша, которому более, чем Семиону Потапычу, приходило бы к лицу именоваться полным прозвищем, Ильей Ивановичем К[illegible]овым. Это был, во-пе-

вых, человек несколько хозяйственного склада и и прежде всего крестьянин, хотя и работал на фабрике; но у него какая бы ни была, всё же имелась землишка, избенка, коровенка, была, значит, жена и были, значит, детишки. Всё, как и подобает истинному хозяйственному человеку из деревни. И отличался он поэтому большей степенностью и меньшей подвижностью, чем Семион Потапыч, но зато, повидимому, более обладал другими достоинствами. В то время, как Семион Потапыч, вечно говорливый, отзывчивый, увлекающийся, как-то само собою, незаметно для себя, словно кричал о своих душевных доблестях,— душа у него точно была вся на блюдечке,—напротив, Илюша был молчалив, сдержан, и хотя сегодня, когда мы с Семионом Потапычем зашли к нему в деревню (она была недалеко за лесом, около фабрики), я, в первое же знакомство, уловил на его лице тотчас же то естественно-чистое выражение, о котором я упоминал, и что тотчас же связало нас невидимыми духовными узами,—но я никак бы не догадался,—не шепни мне об этом Семион Потапыч,—что Илюша еще недавно носил вериги, что он знал всё Священное Писание „от доски до доски", что он мог наизусть цитировать многие библейские места: скромность его была чрезвычайна.

Итак, когда мои воспоминания о прежних муромских лесах так неожиданно сплелись в моей голове с представлением о нашем теперешнем товариществе, у меня что-то вдруг так тоскливо, но в то же время так мучительно-приятно заныло в груди; я хотел было объяснить моим товарищам, откуда и как и по какой причине могло всё это произойти, когда Семион Потапыч, присев на низенький пенек, словно на корточки, заговорил, пуская тонкой струйкой дым папироски.

— Что говорить!.. Еще бы!.. Много ли теперь от муромских лесов осталось!.. Старики порасскажут—такие ли леса были! Нет, брат, по тем лесам не стал бы так разгуливаться, как теперь мы разгуливаемся... Зверья этого одного сколько было!.. Где теперь! Ну, и народ в то время проживал по этим лесам—железо, одно слово: кованое! Вот какой народ!.. Ха-ха-ха!.. Напужался тогда?.. Что? А? Верно? Народ был тогда... одно слово—утешение! Теперь такие только старики остались... Нет, теперь здесь бояться нечего: что мы за народ?—мелкота, дрянь... Вот разве только один Илюша в тех пошел... А мы что?.. Нас ржа из'ела, невидимо иссосала, неприметно гложет и ловит... Тогда народ-то били прямо, по телу, с уважением, так сказать; оно, тело-то, что кусок железа под молотом—только крепчало... Всё было в'яве... А нас, что ржа железо раз'едает: и французской-то болезнью тебя жмут, и голодовкой неприметно донекают, и железною пылью грудь твою разлагают, и в ребенчишку твоего эту язву ведут еще эвона когда—с десятого году!.. Так оно, милый мой Василий Петрович, тогда только настоящую-то боль въяве восчувствуешь, когда в происхожденье времени вникнешь, да себя со стариками посравнишь, да в глубь жизни уйдешь, врага-то всё ищешь своего,—хвать ан, после того, уже и умирать смертный час зовет!.. Только что это было, значит, он умом-то стал обходиться... ан тут только и увидел, что сладина-то вся уж израньше, еще может через твоего родителя,—по наследственному происхождению, повымотана. Так-то!..

Симеон Потапыч приостановился и стал глядеть в лес, в сторону от нас. Я знал эту его привычку прятать глаза от слушателя, когда он чув-

ствовал, что они наполняются слезами. Помолчав немного „в сторону“, он вдруг, по обыкновению, обернулся, стыдливо взглянул на нас с слезливою улыбкой и, похлопав опять мне легонько по плечу, сказал:

— А *между впрочем* (он очень любил это выражение), происхождение времени свое возьмет, Василий Петрович... Так ли? Что касательно потомства, то уж тут никакого сумнительства быть не может, т.-е. чтобы люди внезапно без потомства оказались!.. Натуральные законы мы тоже понимаем... А между впрочем, нам тоже засиживаться здесь нечего,—вдруг заторопился он, засовывая в карман спички и табак,—тоже нас ждать не станут, ежели мы будем ворон считать.. Еще версты с три осталось.

Семион Потапыч вдруг изменился: лицо его приняло деловое, серьезное, вдумчивое выражение, с оттенком как бы некоторого недовольства и даже злости, и, засунув руки в карманы, он быстро зашагал вперед, сверкая стоптанными каблуками своих сапожишек.

Илюша, несмотря на свои длинные ноги, тем не менее так неуклюже двигал ими, что постоянно отставал от нас и часто, кроме того, всё обертывался назад.

— Нет, не видать еще Якова-то!—наконец, сказал он словно про себя.

— Придет!—уверенно ответил Семион Потапыч, не оборачиваясь даже.—Придет!.. Уж это, брат... Уж это,брат,—повторил он, вдруг обернувшись ко мне,—уж это ежели... один раз только тревога... от жизни... в душе... Придет!—опять уверенно заключил он и снова побежал вперед.

— Это кого вы ждете?—спросил я Илюшу.

— Так, благоприятель... Как мы ноне собирались, так я забежал было к нему, известил...

Так паренек... хороший, только в блуждании... На фабрике он у нас... Пьет шибко... Возьмешь, подымешь его на улице, к себе приведешь, протрезвишь—ничего, не обижается, рад еще: улыбается это, сидит смирно... Станешь с ним это... что ни то по-умственному говорить—слушает, а потом сам заговорит... Куда! Любого из нас загоняет!.. Глаза забегают, засветятся, что у кошки, сам весь в тревогу придет... Так и день, и другой, и третий держится, а потом опять его опутает!..

— Отчего же?

— От нашего положения жизни... Вот я было и хотел, чтоб он с нами... Сказал ему.—„Хорошо, говорит, ступайте, догоню!..“ А вот не видать...

Илюша замолчал, потом долго спустя прибавил:

— Всё оно думается... как бы попригляднее, покрасивей повести себя в жизни... А то уж очень суетно вокруг нашего-то положения... Одна сута, а пути разумения нет... мало... совсем даже нет... Так, какие-то „обалдуи“ ровно ходим в жизни.

Илюша говорил тихо, повидимому, стараясь, чтобы слышал его только один я.

— Какие обалдуи?

— Так, обалделые ровно мы все... Ни ты православный настоящий, прямизной, без обмана, ни ты—старообрядец, ни ты—молоканин, или бегун... Так, промеж земли шатаешься...

— Но, ведь, ты не такой, Илья Иваныч: ты крепок и стоек в своем деле, сказал я.

Илюша шел, наклонив голову вниз и уставив в землю широко открытые глаза, но на лице его было всё то же выражение детской открытой наивности и чистоты.

— Нет, и я обалдуй.—подумав, наконец, проговорил он.—Кабы я дочитался до чего, как вот молокане, али федосеевцы, али православные, по-

эме из умственных,—из них всякий *до своего* шел, а я *до своего* не дошел..

— Дойдешь, Бог даст!

— Трудно... одному... Я сызмалолетства всё ил... А у нас на фабрике народу эдакого мало... ё народ суетный, али всё такие же обалдуи... положения жизни... Трудно... Точно, Василий етрович,—в Писании есть указание, что и в одиночестве людей как бы осеняло... Ну, только меня вот не осеняет!.

Я взглянул на Илюшу,—он поднял на меняои большие, мягкие, добрые серые глаза, как удто спрашивая и недоумевая, чему я изумился.

— Нет, не осеняет,—опять грустно повторил н,—стараюсь вникнуть—и что к жизни, и что к казанию и что к своему семейственному обхождению, а всё будто не хватает... не дойду эдак еще о настоящего, своего-то... Чтобы к другим риставать,—тоже эдак настоящего расположения ет: будто как у них тоже промашечки в разных елах усматриваешь,—ну, и думаешь, утруждаться... А чтобы эдак настоящего пути—не видать...

— Найдешь, Илья Иваныч, Бог даст! Знаешь: толцыте и отверзется, просите и дастся вам...

— Да, да... Это я крепко знаю... А кабы на ароде, во круге—скорей бы, много скорей... А то духом слабнешь...

— А что Семион Потапыч... он как?—спросил я.

— Семион Потапыч—душевный человек,—отвечал Илюша,—я его люблю... Только он чувствительный такой... Всё он шипит, шипит, ровно вода на каменке... Всё он тебе до самого нутра укажет, до самого сердца твоего дойдет, и что вокруг тебя,—всему этому он оценку даст... Ну, только чтобы всё в одно свести, концы с концами пологичить,—этого у него нет... Я его люблю; его у

нас любят... Ну, только чтобы всё в одно свести не хватает у него... Нет вот—такое дело, право!.. А уж на что человек!.. А вот не осеняет,—нет,—с искренней грустью прибавил Илюша.

— Отчего же так?

Илюша замолчал. Жилы на лбу у него напружились, глаза, опять широко раскрывшись, смотрели в землю. Вообще, видно, он думал тяжело; мысль не посещала его, как вдохновение: он должен был так же медленно и упорно выкорчевывать ее из мозга, как глубоко засевший пень из твердой девственной почвы.

— Как сказать?.. Кто-е знает!.. Конешно, всё это по рожденню,—протяжно говорил он.—А может от того, что одиночка он... одинокая душа на свете, ну, всего и не досматривает... Потому, ежели, примерно, ты при семейственном положении или на миру, в деревне, что ли, тут всякое малое дело надо удумать, всякому малому волосу чтобы свое место и свое рассуждение было. Так я думаю,—от этого самого... Да... Тут нужно, всё чтобы свое место в рассуждении имело,—говорил задумчиво Илюша.—Вот оно и не легко... и утруждаешься... Сильно утруждаешься... Потому и младенца тебе нужно в рассуждение взять, что касается его нарождения, и родителей чтобы в обхождении с ним поставить в разум, и старца взять если в рассуждения смертного часу... Много, много... Жизнь—большое дело... Сильно утруждаешься.

Илюша вздохнул.

— Ничего, Илья Иванович, не отчаивайся... Бог даст найдешь...

— Да я ничего... Только кабы по кругу его, рабята... Ты у нас здесь, что ли, проживать останешься?

— Пока да...

— Будем вместе искать!—вдруг сказал он и, улыбаясь, протянул он мне свою широкую ладонь.

Я смутился и робко пожал ему руку: мне казалось, что эта большая мускулистая рука увлекает меня за собой в такую глубину, в которую никогда раньше не опускался я еще до сих пор. А вот он, этот наивный Илюша, давно уже погрузил себя в эти глубины и настойчиво, упорно „утруждает“ свой ум, чтобы увидать до конца, до последней мелочи эти глубины,—и затем всему „подогнать концы с концами“.

Я долго не мог освободиться от своего смущения, которое вдруг вызвало в моей голове целый рой таких идей и представлений, которых до этого никогда почти не касалась моя мысль. Всё это, прежде лежавшее где-то на дне души, под спудом, именно „на глубине“, в которую не приходилось да и не думалось нужным заглядывать,—всё это вдруг теперь всплыло, поднялось наверх...

— Идет, идет!—чуть не закричал Илюша от радости и вдруг отчего-то покраснел, замешался и замахал руками.—Семион Потапыч, идет Яша-то!.. Эй, догоняй скорей!..

Мы приостановились. Вдали, позади нас, показался высокий, худой, длинный человек в какой-то куцавейке и синих портах, заткнутых в валеные сапоги, в картузе. Но вместо того, чтобы идти на зов Илюши, Яков тоже остановился.

— Что же ты?—кричал Илюша.

— Идите, идите... Буду!—донеслись до нас слова Якова, и он в свою очередь замахал нам руками.

— Видишь, братец, утесняется это еще он тебя... Такой человек сумнительный да совестливый,—объяснил мне Илюша.

Невдалеке перед нами виднелась деревенька, к которой уже подходил Семион Потапыч.

НАДО ТОРОПИТЬСЯ.

(Посвящается памяти В—ой).

Suum cuique...

I.

В небольшом трех-оконном домике чиновни
Побединского, стоявшем на крутом обрыве к гн
лой речонке города N, произошло очень важно
для обитателей его событие: вчера умер от скор
течной чахотки единственный сын хозяина, гим
назист шестого класса. Болезнь свалила ег
быстро. Еще неделю тому назад можно был
каждое утро, в обычные восемь часов, встретит
Костю Побединского,—этого длинного, сухог
сгорбленного, с худым лицом и близорукими гл
зами в очках юношу, поднимавшегося с трудо
на высокий вал, для сокращения пути в гимнази

Это был юноша тихий, смирный, способный,—
один из первых учеников гимназии. Все прочил
ему хорошую карьеру, и только чересчур напря
женное прилежание и какая-то лихорадочна
торопливость, которая замечалась во всех его дей
ствиях, да как будто несколько блуждающа
мысль—признак человека, постоянно сосредото
ченного на каком-нибудь одном пункте—внушал
некоторые опасения за его судьбу. Но вообщ

им были довольны все. Даже был доволен отец, добрый в сущности человек, но имевший странный взгляд на воспитание: он считал обязательным быть суровым с детьми и не допускать „нежностей“. Он говорил: „наша жизнь трудная. Нам не к сердцу миндальничать... Нужно, чтоб наш брат с пеленок закалял себя, чтобы каждый час у него бы рассчитан... Нам время терять нельзя“... И, благодаря такому взгляду, он упорно душил в себе всякое проявление чувства, чтобы не выказать „слабости“. Тем не менее дети хотя и боялись его, но уважали. Отец был суров и с Костей, но Костя чувствовал по интонации в голосе отца, по некоторым, чуть приметным, взглядам, на которых он ловил его, что отец им доволен, что он любит его, что он верит в него и ждет от него многого. Действительно, отец возлагал на своего единственного сына большие надежды, что наконец он выведет их всех в „люди“. Это был самолюбивый человек. В свое время он сам мечтал „выйти в люди“, выбиться из всенивеллирующей пошлости и приниженности,—на это он потратил много энергии (уже будучи чиновником, он приглашал к себе на уроки семинаристов, платил им из своего скудного жалованья, мечтая при помощи их пополнить недостатки собственного образования). Когда у него родился Костя, он еще сам мечтал сдать вступительный экзамен в университет! Но нужда и неудачи час за часом обрывали крылья этой энергии, и, не выигрывая в осуществлении своих мечтаний, он только проигрывал по службе, как человек, смотревший несколько свысока на своих начальников и на сотоварищей. Это его озлобляло. Костя рос, и понятно, что все мечты отца-неудачника сосредоточились на сыне. Он следил за ним, за каждым

шагом в его развитии с каким-то мучительным томлением. Трудно сказать, кому было больнее и обиднее от каждого неудовлетворительного балла—отцу, или сыну. Отец почти никогда не наказывал Костю, но последний в тысячу раз больше всякого наказания боялся взгляда отца, этого невероятно мученического и страдальческого взгляда, как будто с него заживо сняли кожу.— „Эх, Константин!—бывало скажет отец таким невыносимо-страдальческим тоном, что в Косте перевернется вся душа:—неужели, братец, *нам* всем так и суждено сгибнуть... Ведь, кажется, Бог не обидел нас ни умом, ни талантами, а?..“ И этого было достаточно, чтобы в Косте вызвать всю силу напряжения, которая в нем могла найтись. Целые ночи пролетали за латинскими и греческими вокабулами; портились глаза, горбилась спина; преждевременная дряхлость сказывалась в молодом организме... Вот уже приходили последние годы гимназического ученья, еще несколько шагов и—Рубикон будет перейден: там, впереди, всё же будет легче... И еще томительно-мучительнее наблюдал молча за сыном отец, и лихорадочно-торопливее напрягался сын.

Костя умер в конце осени. Легко вообразить, какое впечатление произвела его смерть на отца. Стоило только взглянуть на эту высокую, сухую фигуру, суровую и строгую, с гладко выбритым подбородком и ввалившимися, зеленоватого цвета, щеками, с поседевшими за одну ночь волосами,— фигуру, неподвижно стоявшую целыми часами в маленькой зальце у гроба сына, чтобы понять, какую душевную муку переживал Побединский. Все три дня, пока шло „убиранье“ покойника, панихиды, прощанье, похороны, поминки, Побединский почти ничего ни с кем не говорил. Когда

кто-то из педагогов захотел пособолезновать и сказал Побединскому, что Костя „надорвался“, что надо бы ему полегче относиться к делу, что ведь так невозможно...

— Что невозможно?—сурово перебил его Побединский.

— Так надрываться... Надо легче относиться к жизни.

— Легче-с?.. А позвольте вас спросить, если б мы не надрывались в школе, легче нам было бы жить?.. Я вас спрашиваю: легче было бы нам жить?.. Нет, вы при наших детях этого не говорите...

— Но ведь вот какой результат...

— Пусть! сурово проговорил Побединский:—это лучше... Не вывезло, ну, что-ж!.. Лучше смерть, чем прозябание... Для нас иначе нельзя... Для нас отдых только впереди...

II.

Когда Костя лежал уже мертвый, сначала на постели, потом в гробу на столе, потом в церкви, за ним, в наивном недоумении, упорно, со страхом и любопытством, следили два бойких голубых глаза. То была краснощекая, с густыми кудрями, двенадцатилетняя сестренка его Надя, прозванная „чемоданчиком“ самим Костей за ее изумительный аппетит. Когда Надя увидала рыдавшую мать и мрачное, смоченное слезами лицо отца, она игриво и неслышно, как кошка, просунула голову в дверную щель в комнату, где лежал на кровати труп Кости, и долго внимательно смотрела в его сухое, зеленое лицо и спрашивала: что же это такое? Это и значит умер? Значит он больше не будет сидеть в кабинете за латин-

ской грамматикой или заниматься с нею по арифметике? Или он полежит так еще с неделю, другую и потом встанет и опять она будет видеть его за тем же столом, сгорбленного, в очках, у лампы с голубым абажуром, низко уткнувшего свой нос в толстый лексикон? Да, конечно так, решила она и убегала прыгать на улицу.

Но вот принесли гроб. Костю нарядили, положили в гроб и поставили среди зали на стол. И опять, когда все ушли, два быстрых и внимательных глаза сверкнули в дверной щели, потом высунулась кудрявая голова, потом два несмелых шага и Надя опять в недоумении всматривается в новую незнакомую ей картину. Она уже ничего не думает, она поражена и только спрашивает: „ну, что же дальше будет?“

Потом пришли вдруг разом все товарищи Кости, весь класс, подняли на руки гроб и унесли в церковь, а оттуда также понесли на руках на кладбище.

Особенно забавны были ей двое, которые надели на головы крышку гроба, словно одну большую шляпу... И Надя всё продолжала спрашивать себя: „что же дальше?“ Дальше, Костю закидали землей и уехали...

— Только-то?—Это был последний вопрос, который так и застыл в ее больших глазах:—и больше уж Костя не будет учить свои латинские вокабулы? Не будет сидеть сгорбившись целые ночи за своим столом, у голубого абажура лампы? И для этого только он сидел сгорбившись столько дней и ночей, дней и ночей?

И опять она спрашивала себя: „только-то? И больше ничего не будет? И всё тут?“—И никак она не могла с этим примириться, и всё думалось ей, что Костя вернется и опять сядет у голубого абажура, потом будет сдавать экзамен, все

будут довольны—и он, и папа, и мама... Всем будет так весело, потому что все будут мечтать, как скоро Костя „выйдет настоящим человеком", как для всех них начнется какая-то новая, не такая—„настоящая жизнь".

Как для отца и матери, так и для нее в Косте заключались все представления, все мечты о будущем: что-то такое неизвестное, но несомненно новое, хорошее, какие-то громадные перспективы должен был открыть им Костя. На нее, девочку, хотя ей и было уже двенадцать лет, мало обращали внимания; если мать, стоя у ее постельки, и мечтала иногда о ее судьбе, то судьба эта как-то неизбежно всегда приурочивалась опять-таки к тому же Косте. Костя же занимался с нею в свободное время; хотя в городе два года была уже открыта женская гимназия, но Надю отдавать не торопились, стесняясь средствами.

Кудрявая и краснощекая, она всё еще беззаботно носилась по улицам, по садам и огородам, перепачканная, пыльная, больше напоминавшая резвого уличного мальчишку, чем степенную барышню.

Смерть Кости как-то сразу оборвала даже ее беззаветную резвость: даже для нее стало понятно, что что-то оборвалось. Бегает-бегает она теперь,—и потом вдруг, совершенно невольно, забежит в кабинет, в залу, и присядет в уголок, и долго молча смотрит в передний угол, где недавно стоял дьячек, читал псалтырь, потрескивал и блестел большой серебряный подсвечник в изголовье гроба,—а вот тут гроб и в нем Костя... И ее охватывало какое-то страшное, гнетущее недоумение, и ей казалось, что теперь уж нельзя почему-то больше бегать и лазить по деревьям так, как она бегала и лазила раньше, „при Косте"... Что-я-

нужно было делать, как жить „по-новому"—она не знала, но чувствовала, что что-то надо было делать по-другому.

Однажды, когда она так же сидела в уголке зальца, ранним утром, вернувшийся откуда-то отец вдруг заговорил с ней.

— Надежда,—сказал он с обычной суровостью:— оденься получше... Поди, мать оденет... Да скорее, надо торопиться!..

Надя сначала вздрогнула (она боялась отца бессознательно; он был для нее таким же воплощением грозной правды, как громовержец), потом она вся вспыхнула, вскочила и робко стала смотреть на отца широко открытыми глазами.

— Ну, ступай же... Говорю, торопиться надо! Еще, может быть, успеем...—повторил отец.

Надя робко и смиренно опустила глаза, сконфузилась—и степенной, торопливой (совсем, совсем не прежней прыгающей, козьей) походкой пошла к матери: во всем ее существе вдруг сказалось, что вот теперь наступило это „новое"... и новое это заключалось прежде всего в том, что куда-то, зачем-то неизбежно, необходимо „надо торопиться"...

Мать одевала ее, плача и крестя (из ее головы, конечно, не выходил Костя, и, может быть, в ее воображении мелькнул уже новый гробик)... Вот Надя в голубом платьице, белой пелеринке, капоре и стареньком драповом пальто,—вышла с отцом из дому. Отец шагал широким, торопливым шагом, Надя семенила, едва поспевая за ним, взволнованная, запыхавшаяся, полная неясных, тревожных ощущений...

— Ну, Надя,—говорил на ходу отец,—теперь уж ты... Теперь на тебя вся наша надежда... Тебя и зовут Надеждой,—улыбнулся он ей:—

Почем знать, может быть это и недаром... Бог знает, к чему всё ведет!.. Конечно, ты не мальчик, не Костя... Уж от тебя ждать того нельзя, а все-таки... Нам больше нечего делать; мы не баре, чтобы выезжать на балы, заниматься изящными искусствами и обольщать богатых женихов; мы и не купцы,—у нас нет средств делать тебе приданое... Всё наше,—мальчик-ли, девочка-ли, всё равно,—всё наше вот здесь,—постучал он себя набалдашником трости в околыш фуражки:— ум, Надя, знание... прилежание... Вот твое приданое!..

Так говорил Побединский, как будто действительно думал, что в жизни разночинца нет ни старых, ни молодых, что одинаково для всех должно быть присуще сознание суровой борьбы с жизнью.

Побединский вел Надю определять в гимназию, в которой уже начались занятия. Надо было торопиться поступлением. Кое-как, хоть и с грехом пополам, Надя сдала экзамен во второй класс,— и ей сейчас же опять надо было торопиться— догонять своих одноклассниц.

III.

Прошло пять лет (и как поразительно быстро они пролетели!)—и вот в том же трех-оконном домике, в том же узеньком и душном кабинете, перед той же лампой с голубым абажуром, на том месте, где некогда сидел Костя,—там же все пять лет сидела Надя. И как она стала похожа на Костю! Давно уже нет у нее ни прежних розовых щек, ни пухленьких ручек, ни того завидного аппетита, за который прозвал ее Костя „чемоданчиком“... Высокая, длинная, с выдавлен-

мися лопатками и плоской грудью, с тою же лихорадочной торопливостью, как и Костя, в обычные восемь часов утра, шла она по дороге в гимназию... Иногда утомленный организм просил отдыха, такая нападала страстная потребность лени, что Надя бросалась на кровать и долго неподвижно лежала, не думая ни о чем, не чувствуя ничего... Это полное бездействие, когда утомленный мозг переставал напряженно работать, доставляло Наде единственное, безмерное наслаждение... И казалось бы пролежала она так долго, бесконечно долго.

— Надя, ты приготовила уж уроки?—раздается ровный, тихий голос отца, заглядывающего осторожно в комнатку Нади, когда что-то долго не долетало до его слуха шуршанье книжных листов:—нам бы, Надичка, только теперь поналечь... Уж не долго... Только бы теперь не застрясть... Поналечь, поторопиться... А уж там...

Отец не договаривает, что такое будет „там“,—да не знал этого ни он, ни Надя... Надя только видела перед собой всё тот же невероятно-страдальческий, мученический взгляд отца, в котором так ярко светилась и надежда, и несбывшиеся мечты, и эти вечные, тревожные потуги достичь чего-то „нового“, хорошего, не такого, как эта окружающая жизнь.

Надо торопиться...

Надя хорошенько не может определить, когда именно это совершилось. Ни мать, ни отец ей ничего не говорили; сама она, в своей безотчетной, лихорадочной торопливости, погруженная в учебники, не могла всматриваться внимательно в то, что происходило вокруг нее. Только уже спустя неделю она стала замечать, что отец позеленел и поседел, что он весь вдруг как-то опустился

Аккуратный, исполнительный и трудолюбивый всегда,—он теперь сидел целыми часами и днями у окна, молчаливый и мрачный, и курил трубку за трубкой; целыми неделями он не снимал халата, не делал шага из дому, не брился... Он забывал пить и есть, пока его не звали...

— Мамаша, что такое сделалось с папой?— спросила Надя мать.

— Ну что же такое? Ничего... Всё Бог даст исправится! Очень уж он к сердцу принимает... А ты не думай об этом. Всё Бог даст уладится...

Надя догадывалась, что отец отказался от места. Она уже замечала, как начали исчезать из дому более ценные вещи, наконец материны платья; потом не стало кухарки, и мама,—всегда молчаливая, кроткая, простая—сама возилась в кухне. Однажды Надя взглянула в окно—и вдруг вспыхнула: мама, накинув на голову шаль, несла с колодца через улицу на коромысле ведра с водой...

Надя встала, тихонько притворила дверь в соседнюю комнатку и посмотрела на отца: глаза его были красны и какая-то судорога сводила его губы (он не замечал ее). Она тихо подошла к нему. Он вздрогнул—и так умоляюще, так ребячески беспомощно взглянул ей в лицо, что у нее сжалось сердце и подступили к горлу слезы

— Папочка, папа! Зачем так убиваться... Я для вас всё... сделаю... Я... готова на всё... только уж не много подождать... Вот экзамены,—говорила, волнуясь, заикаясь и плача Надя, сжимая руку отца.

— Надя, я, конечно, знаю, вы меня любите... Мать меня любит... Но я не вынесу этого смирения. Это слишком... Это значит—укорять меня... Но я не мог... Я самолюбивый человек, я не мог

стерпеть, когда видел, что мою голову, мой ум, мои труды другие... бессовестно и почти нагло... не стесняясь, не стыдясь... выдают за свои и... торжествуют!.. Потому что они начальники, а я — письмоводитель... служу по найму... что это так и должно быть... что я получаю деньги... за это... Впрочем, ступай, учись,—сказал отец и как-то торопливо поднялся, погладил ее рукой по голове и стал одеваться.

В этот день пришел он поздно. Надя только что легла. Она стала прислушиваться. Отец был необычно весел, смеялся над матерью, шутил, считал какие-то деньги... Потом он, нераздетый, повалился на диван и сразу заснул. Надя вскочила и, приотворив дверь, взглянула сначала на спящего отца. Лицо его изумило ее: у него никогда не было такого выражения, какого-то блаженно-глуповатого, как у пьяного... Он то храпел, то что-то бормотал бессвязное, искривляя губы в глупую улыбку... Надя испугалась и подошла к комнатке матери и также тихо заглянула в дверь. Мать стояла на коленях перед образом и, припадая к полу, жарко молилась, обливаясь слезами... У стены, на кроватке, спала крепко маленькая шестилетняя сестренка Нади... И как пуста, неуютна показалась Наде комнатка матери, в которой прежде так было хорошо, так много было вещей на этажерке, на комодах, еще остатков материнского приданого... Сколько, бывало, хороших вечеров провела Надя в этой комнатке с матерью, которая показывала ей каждую безделицу, и долго, долго рассказывала длинную повесть о своей девической жизни. Надя также тихо вернулась в свою комнатку; сердце ее усиленно билось, на глазах навернулись слезы... Вот и так ясно представился Костя, сидевший по

ночам у лампы с голубым абажуром. Надя забралась под одеяло на кровати, а голова продолжала работать.

— Нет, я не такая, как он... Я ленивая... Мне так тяжело сидеть за учебниками... А если я не выдержу?.. Господи, помоги мне!.. Нет, надо торопиться... Так нельзя...

Мысли носились разорванные, бессвязные в голове; куда, зачем торопиться—Надя опять-таки не знала определенно, но она чувствовала всем существом, что на нее ложится всё настойчивее какой-то фатальный долг, долг жизни... И ни на минуту в ее голову не закралось сомнение в необходимости этого долга. Ее доброе, юное сердце говорило ей одно, что она должна быть на всё, на всё готова...

Это было уже спустя полгода, незадолго до выпускных экзаменов. Отец опустился совсем; он каждую ночь приходил навеселе и иногда приносил денег, иногда сам уносил последние ценные вещи. Их уютная квартира пустела час за часом. А мать смирялась всё больше и больше, всё уходила в себя, всё сокращалась, как улитка, всё становилась молчаливее, и только с какой-то подвижнической настойчивостью отдавалась хлопотам по хозяйству. С утра до ночи она варила, шила, стирала, без слова упрека, и даже иногда весело смеялась, когда в праздничный вечер собиралась вся семья около чистого самовара. И ее веселость была так заразительна, что сам Побединский пускался рассказывать городские новости, и всем было так хорошо, как будто лучшего они не знавали раньше и лучшего не желали... Но это были очень редкие минуты; достаточно было кому-нибудь приносить какую-нибудь недостающую вещь—и вдруг иллюзия разлеталась,

опять болезненно сжималось сердце, отец как-то порывисто поднимался и торопился скрыться.

Однажды, часов в семь вечера, отец воротился не один; с ним пришел молодой человек, недавно приехавший в город, кандидат на судебные должности. Его высокую, с гордо поднятой головой, франтоватую фигуру Надя встречала на городском бульваре, когда ей приходилось проходить из гимназии с подругами. Эти же подруги давно и ей указывали на молодого человека, которого звали „подававшим надежды“, так как первая защитительная речь его в суде произвела маленький эффект, а слух—что у него есть в Петербурге в сенате двоюродный дядя, совсем утвердил прочно его репутацию, как выгодного жениха. Надя сидела за учебником в своей комнатке, когда в зальцу вошли отец и молодой юрист. Она как-то вся замерла и почему-то сердце ее забилось. Как ни заставляла она себя погрузиться в учебник, но это было свыше ее сил. И не столько молодой человек занимал ее, сколько всё то, что связывалось с ним... Она слышала, как весело говорил ее отец, как вдруг он преобразился и стал тем *прежним*, гордым, энергичным, умным, она чувствовала, что он как будто вновь воскрес... Чувствовала она и то, что молодой юрист не был пустой фат, что он был и умен, и проницателен, что он умел находить и ценить хороших, честных людей, и что это он преобразил ее отца, потому что сумел оценить его и сочувствовал ему, несмотря на его внешнюю приниженность и опущенность... Они говорили оживленно и долго. Отец ее с давно уже небывалым увлечением рассказывал о своих прежних планах и стремлениях, о том, как ему трудно было выбиться и быть оцененным среди окружающей косности. Надя

дошла было к двери, чтобы в щель полюбоваться отцом, когда увидела, как молодой юноша вскочил и с чувством пожал руку отцу. „Я вас понимаю, я вас понимаю“,—сказал он.

Отец сиял...

Наде показалось, что они оба направились в ее сторону... Она в бессознательном испуге отшатнулась от двери, поспешно села за стол и уткнула голову в книгу.

Через несколько минут, действительно, дверь тихо отворилась и в нее, словно крадучись, вошел отец. Надя взглянула на него. Господи! что это было за лицо: тут и стыд, и робость, и мольба, и страдание, и боязнь за что-то.

— Надя, прошептал он ей, чуть не умоляя: пойдем к нам, посиди с нами... Он такой хороший, такой умный, такой...

Победимский не договорил.

— Вот, подумала Надя:—вот, значит, это самое...

Кровь ей бросилась в голову, руки побелели и задрожали; взволнованная, она поднялась и вышла в залу...

IV.

Была осень. По одной из крайних улиц „Песков“ в Петербурге, грязной и вонючей, торопливо шла девушка лет 23, в черном платье, стареньком драповом пальто, поношенном пледе и черной шапочке. Мелкий дождь, перемешанный со снежными хлопьями, застилал воздух. Утро было серо, холодно, мрачно... Девушка приостановилась, вынула наскоро записку из кармана, взглянула расписание лекций и часов уроков, затем посмотрела на поношенные, стертые никкелевые часы,—и маленькими шагами еще быстрее про-

должала путь. Часы показывали всего четверть девятого. Девушка шла по направлению к Николаевскому госпиталю, куда в то время только-что были переведены женские медицинские курсы. Девушка была студентка. По устремленным беспокойно вперед взглядам, по лихорадочной торопливости, по всей той напряженной заботливости, которая замечалась во всем ее существе, было очевидно, что ей надо куда-то торопиться и что эта торопливость стала для нее настолько обычной, необходимой, что придавала какой-то особый типичный отпечаток всей ее фигуре, походке, жестам и даже костюму.

Впрочем, как ни озабочена была эта девушка, сегодня, казалось, мысли ее сосредоточены были на чем-то далеком не только от лекций, грязных улиц Песков, длинных казарм Николаевского госпиталя, от уроков с ленивыми и прилежными учениками и ученицами, но даже от выпускных экзаменов, которые уже должны были начаться скоро.

Вот ей встретились гимназистки, торопившиеся в классы, и одна из них почему-то особенно обратила ее внимание. Она приостановилась, посмотрела ей вслед и улыбнулась:

— „Это, должно быть, семиклассница“, подумала она.—„Мне кажется, я была очень похожа на нее, в то время, там, в нашем городишке... Та же неопределенная торопливость куда-то, тот же блуждающий взгляд и то же наивное неведение своего пути, целей, сил... Господи! И вот еще пролетело пять лет... И каких еще лет! Какой горизонт вдруг открылся передо мной, какая масса новых, неожиданных впечатлений! Какая жизнь, о которой я не имела никакого представления, вдруг стала моей жизнью. Я стала участ-

ницей в ней... Пять лет назад была ли у меня хотя мысль о том, что это будет со мною?.. Удивительно, как всё это непостижимо делается у нас!.. Право, часто думается, что мы—такие ничтожные, маленькие существа со всем нашим знанием, со всей нашей волей, энергией... Не случись *того*, в сущности такого не заметного обстоятельства, пройди этот *разговор*, простой разговор двух девочек гимназисток, мимо меня,—ну, просто даже не вслушайся я в него хорошенько,—и вот я не была бы может-быть здесь, не были бы все мои здесь, не было бы всей этой моей жизни: было бы совсем, совсем другое настоящее, другое будущее... Может-быть я была бы уже давно, давно за-мужем, за молодым юристом (теперь, говорят, он уже прокурор, значит,—я была бы прокуроршей), у меня были бы дети, мамки, нянька, хозяйство, вечера, игра в винт, визиты к судейским женам, читали бы романы, ездили в театр... И папа был бы доволен или, по крайней мере материально обеспечен... Муж, наверно, пристроил бы его... Мама ходила бы опять в шляпках, не стирала бы белье, не носила бы воду... И всё это было бы делом одного месяца, одной недели!.. Прямо после выпускных экзаменов в гимназии могла бы быть моя свадьба... И вдруг... Как точно я вспоминаю всю эту сцену! Вот мы все, выпускные, собрались после педагогического совета слушать об'явление о результатах экзаменов... Вот вышла начальница, с ведомостью в руках, сопровождаемая всем советом. Я чувствовала, что глаза всех обращены на меня. Вот начальница подходит ко мне, подает свою руку: все улыбаются—и поздравляют меня с золотой медалью. Она говорит, что я—звезда не только нашей гимназии, но всей губернии, что я поддержала честь

всех наших женщин, всего нашего молодого же
ского образования; что теперь моими успеха
моим усердием упрочено существование наш
гимназии; что я оправдала возлагавшиеся на
надежды, что теперь врага женского образова
обезоружены мною!.. „Браво, Надежда Побед
ская: мы победили в лице вашем! О, недар
недаром у вас такое имя и фамилия“,—гово
начальница, добродушно улыбаясь... Нет, я эт
не ожидала, такого триумфа, я чувствовала,
едва стою на ногах, что у меня дрожат руки.
что всего важнее—я почувствовала, что вдру
мою душу проникло что-то новое, какие-то не
веданные никогда прежде ощущения. Помню
была сильно взволнована: на меня все смотре
как на диво, даже все наши ученицы, как бу
я в самом деле была героиня, как будто я, д
ствительно, совершила необычайный подвиг!..
чтение ведомости было, наконец, кончено... Ш
ная толпа учениц рассыпалась по рекреаци
ному залу. Еще вся трепещущая, я подошла
окну с одной из своих подруг и об чем-то го
рила с ней, плохо слушая ее. В это время,
вдалеке от нас об чем-то горячо говорила
бравшейся группе одна из наших выпускных.
была девушка простого звания, старше нас вс
из дальнего уездного городка, она поступила в
уже в старший класс прямо. Говорили, что
была прежде учительницей в селе, затем в с
бодное время приготовилась одна, без всякой
мощи, к экзамену в старший класс. Признат
сказать, мы все перед ней казались детьми.
почему-то боялись ее, чуждались, избегали го
рить с ней, даже когда она сама заговарива
Она читала какие-то книги, о которых мы ничего
не знали; она знала в жизни то, о чем мы

имели понятия; она говорила всегда так серьезно, когда нам хотелось или шалить, или хохотать, или торопиться учить уроки, как мне... Теперь, прислонившись к подоконнику и постукивая по коленкам книгой, она говорила собравшейся вокруг нее кучке наших.

— Ну, господа... или как вы теперь—mesdames?.. Куда? Замуж?.. На отдых?.. Утомились?.. Говорят, у многих из вас уже есть женихи... Вот, говорят, у Крыловой (самая младшая из нас, маленькая и совсем выглядывавшая девочкой) говорят даже у нее есть жених,—говорила она, смеясь и показывая на Крылову.

Крылова засмеялась сама, покраснела. Засмеялись и все.

— Впрочем, шутки в сторону... В самом деле, меня особенно изумляют *наши*... дочери разных чиновников, приказчиков, попов и всяких таких... разночинцев... Не понимаю!.. Учатся в женской гимназии, которая содержится на счет земства, выучатся на чужой мужицкий счет, получат золотые медали, и вдруг—замуж!.. играть в ералаш, танцовать на вечерах, читать романы, ездить по визитам... Изумительно!.. И главное дело—всем им кажется еще, что они героини, что они в самом-деле кому-то большое одолжение сделали... А по-моему это просто подло!..

И говорившая пожала презрительно плечами. Все окружавшие слушали ее молча, с каким-то страхом и стыдом, как будто они действительно только-что сделали большую шалость.

— Побединская!—вдруг обратилась она ко мне, не смотря, впрочем, прямо мне в лицо:—Вы замуж... с золотой медалью? (она, бедная, едва получила удовлетворительные баллы, потому, как говорили классные дамы, что много тратила вре

меня на чтение „необязательных“ книг). А вы, Петрова, неужели тоже? И вы, Кольцова? И вы, mesdames...

Но в это время начальница громко сказала:

— Ну, дети, теперь на отдых!.. Будьте здоровы, веселы, счастливы!..

— Да, конечно... теперь уже отдыхать... Чего же больше!—заметила суровая девушка.—И все стали расходиться.

Не знаю, как ни тяжело мне было жить, здесь, чего только не перенесли мы, но, кажется, более тяжелых минут, как тогда, я не переживала.

Я вышла из гимназии. Я не замечала—скоро или тихо я шла, одна или с подругами. Я помню только, как у меня стучало в висках, кровь то бросалась в лицо, то отливала, мысли бессвязно носились в голове. Всё перемешалось: торжество и позор, радость и отчаяние, жажда отдыха (просто даже физического отдыха) и решение тотчас же, не теряя ни минуты, снова идти и идти. Но как идти? Это безумие, невозможность!.. Бросить всех своих? И вот опять мысль о матери, об отце... А он теперь такой стал бодрый, хороший... в нем только-что вдруг всё поднялось, воскресло!..

— Ну, Надечка!—сказали в раз отец и мать, встречая меня такими сердечными поцелуями... А мама так радовалась, что уж теперь я отдохну, и всё крестила меня.

Но дальше я ничего не помню.—Прошли три невыразимо томительных, тяжелых дня: у меня была горячка, и вот, перед кризисом, я помню, пережила таких же три, четыре дня... пока, наконец, всё оборвалось. Я не выдержала—и разразилась истерическим плачем. Я плакала громко и неудержимо, плакала целые часы. Отец был особенно нежен со мной. Однажды он подо-

шел к моей кровати, робко присел сбоку и стал гладить меня по волосам. Потом, видя, что я немного успокоилась, он тихо сказал:

— Надечка, ты вышла бы в залу, тебе было бы лучше...

— Я не хочу, я не люблю его,—закричала я, не понимая сама, что говорю, зачем... и не в силах была сдержать себя:—Я пойду, скажу ему,—говорила я, быстро вскакивая с кровати и в то же время смутно сознавая, что я делаю что-то нелепое, что я всё брежу, сумасшедшая...

Отец был бледен,—даже я это заметила. Он быстро положил мне на горячие губы свою холодную ладонь, уложил меня на кровать и вышел...

Побединская оглянулась. Там и здесь по тротуарам шли, обгоняя и догоняя ее, студентки. Впереди виднелся Николаевский госпиталь. Воспоминания Побединской резко оборвались, и мысль пошла какими-то неуловимо быстрыми скачками, как будто торопясь что-то закончить.

Вот Побединской почему-то вспомнился вагон железной дороги. Поезд словно плывет, покачиваясь и погромыхивая цепями; тут и сердитый, молчаливый отец, и мать, которая то и дело крестится, и сестренка, с любопытством осматривающая пассажиров, и она, которой почему-то неловко смотреть и на отца, и на мать, и на сестру... Да и все они, хотя и сидят друг против друга, избегают смотреть один на другого. Когда же глаза ее встречались с глазами отца или матери, у нее вдруг почему-то сильно начинало биться сердце; она вспыхивала и опускала свои глаза...

Странно! У нее из головы не выходило сравнение их поезда с кораблем. Ей казалось, что вот именно так, должно быть, совершал свое плаве-

китое путешествие Колумб... Кругом безграничное море. Корабль плавно несется, чуть покачиваясь и скрипя снастями; путники молча стоят на палубе и смотрят вопрошающе то в безвестную даль, то на стоящего впереди их, со сложенными на груди руками, вперившего взор в туманную дымку горизонта, большого человека. Этот человек тоже невольно опускает глаза, когда случайно встречает обращенные к нему взоры спутников. О, он так хорошо знает, о чем спрашивают его эти взгляды, он так страшно сознает ответственность, которую возложила на него судьба!.. И ей казалось, что и у него должно быть замирает сердце,—у этого большого человека, как и у нее, слабой, худой, бессильной девушки.

Потом быстро проносится в ее голове другая картина. Сыра, холодна квартира в одном из узких переулков Выборгской стороны (тогда они жили еще там). Все они теснятся в одной маленькой полутемной комнатке, потому что две соседние сдают жильцам. Вечер... Победимская возвращается с урока. У ворот дома с чем-то возится народ; это—привезли ее отца, в продранном пальто, растерзанного, его тащат дворники во двор, вот его вволокли в их комнату и положили на старый, провалившийся диван...

И первая мысль, которая пробегает в голове Нади, это—мысль скверная. Господи, когда же будет конец?..

Несчастный неудачник измучился сам, измучил других и падал всё ниже и ниже...

На утро он лежал уже на столе под образами.

— Это он от меня погиб... Зачем я их всех завлекла сюда?.. Он понадеялся на мои убеждения, что его здесь лучше оценят... Я сама верила в это искренно. Но как же я могла иначе?.. (От-

чего он не дожил?.. Вот уж... скоро... конец... Вот еще последние шаги, последнее...

Побединская стояла уже у госпиталя. Она отворила массивную дверь. На нее хлынул знакомый шум, ряд воспоминаний моментально оборвался и потонул в совершенно новом, другом круге представлений, интересов, идей.

V.

По широким коридорам и пустым палатам были рассеяны своеобразные группы студентов. Одни кого-то слушали, другие горячо разговаривали, третьи поспешно списывали программы и расписание экзаменов.

— Господа,— крикнула одна высокая студентка, с черными кудрями девушка, поднимая кверху сверток лекций:— Господа! Кто идет к Р.? У него сегодня последняя операция. Больше нам не удастся уже видеть... торопитесь, а то провалимся все на позор всему женскому миру!

— Это ужасно,— также громко отвечал ей кто-то из группы.— Уже теперь только и слышишь: а вот посмотрим, как-то вы оправдаете надежды?.. Говорят, на наши экзамены соберется вся знать: словно— спектакль!..

— Ну, авангард— крепись!— крикнула первая черноволосая девушка:— за тобой пойдут целые полки!..

— Побединская, я совсем трушу... Ей-Богу же!.. Никогда, никогда я так не трусила, бедненькая,— говорила одна молоденькая студентка, с розовыми щеками и почти детским лицом, беря под руку Надю Побединскую и скрывая под шутливо-поддельным ужасом действительное волнение.— У вас все есть программы? Нам надо торопиться, торопиться...

— Да, Петрова, надо торопиться... и не падать духом!.. Уж теперь остается дать один, последний ход... А там!..

Побединская улыбнулась своими бледными бескровными губами и тотчас же заторопилась.—Я вот только сейчас сбегаю на урок. Никак, знаете, не могу оставить уроков даже на этот месяц... Право, такое стечение обстоятельств... А вы спишите расписание—и ждите меня через полтора часа.

И Побединская сбежала вниз по лестнице, вышла из госпиталя и почти бегом пустилась на урок, вся поглощенная той напряженной торопливостью, которая, казалось, никогда уже в жизни не покинет ее: так она слилась с ее натурой.

Между тем в одной группе студентов шел такой разговор по ее уходе.

— А у Побединской какое нехорошее лицо, заметили вы? Ей-Богу, так и кажется, что ей не протянуть недели...

— Если бы вы знали, как она живет, что ей стоили все эти пять лет, это возмутительно!.. Она содержала почти всё это время мать, сестру и даже отца. Мать у нее ходит по найму стирать в прачках, тихонько от нее, а она сама, тихонько от матери, набирает столько уроков, что у нее уже буквально нет свободной минуты.

— Право?

— Да, я ее знаю... но она никому ни слова. Ее ведь почти не встречаешь на вечеринках... Изумительно чуткая и деликатная натура!.. Я никогда не встречала такой.

— Ну... вы, Петрова, вечно идеалистка: постоянно преувеличиваете.

— Право, право... Что вы?.. Я знаю это по себе, по всем нашим... Наша жизнь мало-мальски деликатную натуру доводит до такой чуткости, что

или в конце убивает совсем наповал, не давая вздоха, или уже выделывает тупое, забитое, индифферентное существо.

— А еще каких два месяца предстоит пережить ей!.. Хотя бы выхлопотать ей какое-нибудь пособие на это время.

— Нет, знаете, ей лучше посоветывать бы остаться еще на год.

— Что вы, что вы? Это значит ухлопать ее окончательно... Еще год такой жизни!.. Она ведь только и живет надеждой, что вот наконец будет вздох, хотя немного... Притом. она обидится, если ей заикнуться об этом.

— Что делать!

Даром ничто не дается—судьба
Жертв искупительных просит,

продекламировал кто-то.

— Какие однако мы, господа, всё еще эгоисты!.. А народ? Миллионы, миллионы...

В группе разговоры смолкли. Потом кто-то тихо спросил что-то на счет лекций и все стали расходиться. Кто-то совершенно повидимому непроизвольно запел про себя: „Укажи мне такую обитель“...

VI.

Два месяца спустя, в самый скверный петербургский вечер, когда, обыкновенно, в конце ноября, идет суровая борьба упорствующей осени с зимой, в квартире Победимских справляли окончание курса Надежды Павловны. Но если-бы посторонний человек заглянул в эту слабо освещенную единственной лампой с полуразбитым абажуром комнату, то он затруднился бы сказать, что здесь справляли—праздник или поминки. В ком-

натке было всего пятеро. Перед столом, на котором стояла бутылка дешевого портвейна, на старом кресле сидел лысый господин, с большой русой бородой, такими же большими добрыми голубыми глазами, чаще смотревшими поверх очков, чем в них. Он был высок, плечист и плотен; но скорбно-наивный взгляд и добродушная улыбка плохо гармонировали с его геркулесовским телосложением. Он иногда отпивал по глотку из стоявшего перед ним стакана и упорно смотрел поверх очков на сидевшую на диване Надежду Павловну. Побединская чувствовала этот взгляд, полный такой томительной скорби... и любви, и участия, и избегала встречаться с ним. Она сидела откинувшись к спинке дивана и закинув руки за голову—поза, которую она никогда прежде не знавала. В этой позе она так была похожа на трудно-больную, которую вывезли в креслах на свежий воздух и позволили „вздохнуть". И вот она „вздыхала", вся отдавшись этой невыразимо сладкой истоме изболевшего организма.

На другом конце дивана, облокотясь на стол, сидит подруга Надежды Павловны, „розовая" Петрова, как ее прозывали, и наивно-ребячески не сводила глаз с Побединской. Тут же, около них, пристроилась и Анюта, сестра Побединской, на высоком кожаном стуле, и, положив руки на колени, недоумевающими как будто глазами смотрела и на сестру, и на ее подругу, и на почтенного собеседника. Мать Побединской присела в уголку, как-то совсем неудобно, и силилась, надев большие очки, всмотреться при тусклом свете в шов платья, которое она чинила. Вот уже минуты три так собеседники молчали.

— Знаете что?—сказала наконец Побединская:—Сегодня, кажется, единственный день, когда

мне некуда торопиться... И мне—скучно!.. Что значит привычка!.. Я думаю, что то же должна чувствовать обозная лошадь, когда ей долго не приходится везти воз.

— Что за сравнение! Это мило!—с неудовольствием воскликнула Петрова.

— Вы—героиня, Надежда Павловна,—серьезно произнес, даже не без волнения, почтенный господин и отпил глоток вина.

— Что за вздор!—вспыхнула Побединская:—если вы, Василий Иванович, еще раз повторите эти слова,—я с вами разбранюсь... Зачем кощунствовать! Какие мы герои? Еслибы вы знали, сколько раз в моей жизни я роптала на свою судьбу, сколько раз мне, в глубине души, хотелось уйти, уйти от всего этого... на покой... Сколько раз я завидовала какой-нибудь барыне, которая спокойно, развалившись в коляске, мчится... И это—героиня!.. В таком случае скажите мне, сколько же героев живут там, по деревням, которые изо-дня в день, из часа в час трудятся, не разгибая спины, не видя просвета...

— Она еще, чего доброго, измучает себя угрызениями совести,—сказала Петрова:—этого еще не достает!..

— Клеветать на себя можно,—проговорил Василий Иванович.

— Нисколько,—сказала Надежда Павловна:—я говорю правду... Какие мы герои?.. Мы все просто—*люди своего типа*, как пахарь—человек своего типа.

— Прекрасно,—улыбнулся Василий Иванович,—это не умаляет его достоинств... И я повторяю опять: вам необходимо, обязательно—отдохнуть. Если вы не хотите воспользоваться моим... приглашением (тут Василий Иванович весь вспых-

нуз)... в поместьи у моей матери, то во всяком случае... как-нибудь иначе... но только пора перестать *торопиться*... Это невозможно, это возмутительно!..

— Это дело не мое... Как велит судьба,— улыбнувшись, проговорила Побединская...

— Надо бы, Василий Иванович, очень надо,— прибавила и мать:—да ведь, точно... Всё у нас от Бога!.. Всё в Его руках!.. Надо Его молить, чтобы Он хотя на годок дал вздоху...

— Потерпите, маме... Мы уже привыкли... Хуже переживали,—опять улыбаясь, говорила Побединская.

— Вот и еще доказательство, что вам необходим обязательно отдых. Вы впадаете в какой-то мрачный фатализм, а это признак упадка воли,— сказал Василий Иванович, не без искреннего беспокойства вглядываясь на Надежду Павловну — Судьба!.. Но ведь у каждого есть свой ум, свое сердце, которые тоже имеют право...

— Это, конечно, так... Но есть еще что-то!.. Я, право, не умею вам сказать,—задумчиво возразила Побединская: — не умею назвать что это: совесть... или какой-то долг, долг типа... Вот именно... мне кажется, что у всякого типа есть свой долг... И этот долг фатален...

В это время кто-то позвонил. Все вздрогнули, так как никого не могли ждать. Вышедшая на звонок, мать принесла городское письмо Надежде Павловне.

Вследствие ли настроения от предыдущего разговора, или от неожиданности, руки Побединской дрожали, распечатывая письмо. Она быстро пробежала первые строки—и улыбнулась, хотя руки ее побелели и похолодели совсем

— Ну, вот!..—сказала она, и, стараясь скрыть дрожание в голосе, прочла следующее:

„Ура, Побединская! Поздравляю вас от всей души... Сегодня утром я зашла в госпиталь, где встретила начальницу. Она просила меня передать вам, что, по ее рекомендации, место врача в —ском земстве упрочено за вами, что она очень, очень рада этому случаю и за вас, и за курсы, что она надеется — в вашем лице не будет скомпрометирована судьба русской женщины-врача... Все мы тоже искренно рады, что первое место получаете—вы... Лучшего выбора судьба не могла сделать. Вы вполне достойны... Ну, Побединская, вперед!.. Не выдавайте нас... Знайте—на вас теперь будет смотреть вся Россия; от вас зависит связать узами прочного доверия интеллигенцию и народ... О, какое широкое поле открывается перед вами!.. Помогай же вам Бог, collega! Сообщите нам, когда поедете. Все наши желают вас проводить и проститься с вами.

Ваша

Курбатова.

P. S. Да, я и забыла—*вам надо торопиться* представиться управе—особенно на этом настаивают, так как у них среди деревень сильно распространяется эпидемия“..

Дочитав письмо, Побединская в волнении вышла из-за стола и быстро обняла мать.

— Ну, вот, мама... Вот и все!..

— Вы не можете ехать... Это—безумие!—сказал, вставая, Василий Иванович (он был совершенно красен от сильного волнения).—Вы посмотрите на себя только: ведь у вас ни крови, мускулов, ведь у вас полное истощение всего организма, ведь у вас... Вы сознаете ли ясно, что предстоит вам? Ведь этот уезд чуть не в Западной Сибири, за две тысячи верст, ведь это непро-

светная глушь, где вы не встретите даже русского мужика, где живут, по уши в грязи, одни башкиры, где почти не говорят по-русски...

Василий Иванович приостановился, как будто ожидая результатов своей речи.

— Побединская!—крикнула, вскакивая, Петрова:—пустите меня—я поеду за вас!.. Право!.. Я обязываюсь высылать, до тех пор, пока вы не получите через год другого места и не выздоровеете,—высылать вам половину жалованья...

— Браво, Петрова, браво!—закричал в восторге Василий Иванович.

— Согласны? Вы согласны?—спрашивала Петрова, впиваясь глазами в Надежду Павловну...

— Какие славные вы!—проговорила Побединская, крепко пожимая руки тому и другой:—давайте-ка выпьем лучше да поздравимся!.. А затем—надо торопиться...

VII.

Через три месяца в квартире Петровой происходила такая сцена. Петрова, облокотившись на стол, плакала. Три-четыре студентки, в шляпах и пальто, не раздеваясь, наскоро читали какое-то письмо, передавая одна другой,—и рассматривали лежавшую на столе фотографию.

„Милая Лидия Николаевна,—писала мать Побединской Петровой на засаленном лоскутке почтовой бумаги, крупным старинным почерком:—вот и всё кончилось с нами бедными, по воле Божией!.. Вот и вся наша короткая радость и надежда!.. Из глубины сердца и день, и ночь, только спрашиваешь: Господи милосердий,—зачем же дал Ты нам земную жизнь?.. Впрочем, всё в Твоих всемогущих руках! Неисповедим Твой Промысел...

Вот и дорогой нашей Надечки не стало, милая Лидия Николаевна... Не стало,—нет ее больше у нас... Ах, матери, матери!.. На что вы родитесь, на что зачинаете детей своих? Словно кровью поливаете вы землю,—а земля эту кровь пьет, как ненасытная губка... Посылаю вам, милая Лидия Николаевна, карточку,—по заказу председателя снимали... Спасибо им, схоронили с честью и с венками дорогую нашу... Дорога была дальняя. Когда еще ехали, видела я, что Надечка утомилась. А там приехали в деревню: с утра до поздней ночи народ... А Надечка такая деликатная—едет и в ночь, и в непогоду... А помощи никакой нет—один фельдшер... Случится операцию делать трудную—сама дрожит вся, боится за больного, но новости, а посоветоваться с кем или помочь—некому... Извелась совсем от одной думы, не только что от дела... А в деревнях бедность, грязь, все в тифу перевалялись и мы-то... А после всех и Надечка не вынесла... Простите, милая, не могу писать. Вчера только похоронили... Мы с Аничкой не знаем, что делать. Сообщите, милая,—примут ли опять Аничку в гимназию. Будем ждать вашего ответа с нетерпением. Как-нибудь перебьемся,—пока председатель не оставляет. Добрый человек... А все же надо торопиться Аничке... До свидания, милая Лидия Николаевна, не оставьте нас, бедных. Хорошо, если бы вы телеграммой известили. Мы бы сейчас же поторопились выехать. Всё в Питере лучше, я бы работой могла Аничку поддержать, пока на ноги встанет. Что делать? Теперь одна надежда".

Приложенная к письму фотографическая группа несмотря на некоторый расчет на эффект со стороны фотографа,—производит удручающее впечатление, видимо, на всех девушек, собравшихся

у Петровой. Содержание группы, впрочем, было не особенно сложно: скромная комната, по середине белый гроб, серебряные подсвечники по бокам и впереди; в гробу—маленькое, высохшее совсем тело, как у ребенка; в головах—венок,—а близ гроба две фигуры: мать в черном платье, повязанная платком,—эта простая, скромная, робкая и смиренная перед велениями судьбы русская женщина, с нею рядом двенадцатилетняя девочка, с широко-открытыми глазами, обращенными на лицо покойницы... „Только-то?—говорили эти глаза:—тут всё? Нет, это не может быть..."

О, конечно, не может быть, потому что в маленькой Анюте уже несомненно воскреснет ее сестра... Ведь в экономии мирового блага всё равно: Костя, Надя или Анюта...

„Бедный старичок" печатается по „Русскому Богатству", 1892, № 3.—„Авраам"—по изданию: „Сочинения Н. Златовратского. Том I. Крестьянские повести и рассказы (1874—83). Изд. второе. М. 1884".—„Лес" и „Надо торопиться"—по изданию: „Сочинения Н. Златовратского. Часть третья. Рассказы и очерки (1884—1888). М. 1889".

Цена 15 рублей.

Оц.
1-50 к.

ЗАКАЗЫ НА „НАРОДНУЮ БИБЛИОТЕКУ“
НАПРАВЛЯТЬ В ПЕТЕРБУРГ,

Фонтанка 55—Литературно-Издательский Отдел или Фонтанка 61—Главный Склад Народного Комиссариата по Просвещению,

и В МОСКВУ,

Советская площадь (Тверская 18)—Книжный Склад Народного Комиссариата по Просвещению.

Пересылка на счет заказчика по действительной стоимости.

Заказы выполняются по получении денежного перевода на всю сумму заказа